

Лев Мечников

ЗАПИСКИ
ГАРИБАЛЬДИЙЦА



Записки гарибальдийца /Л.И. Мечников публ. и вст. ст. Р. Ризалити; науч.
ред. и послесл. М. Талалай //Алетейя, Санкт-Петербург, 2016
ISBN: 978-5-906860-30-9
FB2: Наталия Цветкова "nvcvet", 15.06.2019, version 1.0
UUID: 679ac9ea-6cfa-11e9-b747-0cc47a5f1565
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Лев Ильич Мечников

Записки гарибальдийца

Впервые публикуются по инициативе итальянского историка Ренато Ризалити отдельным изданием воспоминания брата знаменитого биолога Ильи Мечникова, Льва Ильича Мечникова (1838–1888), путешественника, этнографа, мыслителя, лингвиста, автора эпохального трактата «Цивилизация и великие исторические реки». Записки, вышедшие первоначально как журнальные статьи, теперь сведены воедино и снабжены научным аппаратом, предоставляя уникальные свидетельства о Рисорджименто, судьбоносном периоде объединения Италии – из первых рук, от участника «экспедиции Тысячи» против бурбонского королевства Обеих Сицилий. В качестве приложения даны мемуары самого Гарибальди об этой легендарной кампании.

Содержание

#1	0007
Предисловие публикатора	0007
Записки гарибальдийца	0037
#1	0037
I. Отправление	0040
II. Палермо	0051
III. Неаполь	0067
IV. Санта-Мария	0079
V. Archi di Capua	0090
VI. Баррикады	0100
VII. Министерство	0111
VIII. Ночь на 1-е октября	0125
IX. Утро	0135
X. Полдень	0145
XI. Вокзал	0153
XII. Казерта	0165
XIII. 2-е октября	0176
XIV. Зуавы	0187
XV. Венгерские гусары	0192
XVI. Журнал <i>Independente</i>	0197
XVII. Приезд короля и взятие Капуи	0209
XVIII. Санджованнара	0220
XIX. Падре Гавацци	0232
XX. Наньелла	0241
XXI. Штаб-квартира	0252

XXII. Дженнаро	0262
XXIII. Карлуччо	0313
XXIV. Гарибальди	0325
XXV. Анита Гарибальди	0347
XXVI. Гарибальдийцы	0354
XXVII. Отставка	0366
XXVIII. Гаэта	0373
Приложение	0379
Джузеппе Гарибальди <Падение Бурбонов>	0379
Не только гарибальдиец, не только русский	0407

Лев Ильич Мечников
Записки гарибальдийца



Предисловие публикатора

Считаем, что русская культура XIX столетия, познавшая самые высокие – на мировом уровне – взлеты, имеет мало представителей, равных Льву Ильичу Мечникову (1838–1888). По моему глубокому убеждению, он является самым важным мыслителем дореволюционной России.

Судить об этом непросто, так как Мечников, старший брат более известного Ильи, Нобелевского лауреата 1908 г., не смог увидеть свои «Записки гарибальдийца» вышедшими отдельной книгой у себя на родине (мы публикуем как книгу впервые); другие его сочинения выходили вне России на французском языке. Ему, правда, удалось дать свои «Записки» главами в журнале «Русский вестник», где также печатались другие великие писатели – И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, А. К. Толстой, Н. С. Лесков.

Понятно, что молодому автору и эти журнальные публикации приносили большую радость, хотя он их конспиративно подписывал одним лишь своим инициалом – М. Эта

его предусмотрительность, кстати, вряд ли могла ввести в заблуждение российскую полицию – она, как и российская дипломатия, внимательно наблюдала за маршрутами и встречами Льва Мечникова, пребывавшего в иллюзии о надежности своего подполья.

Причины для конспирации у автора были – в этом может убедиться современный русский читатель, как это уже сделал, чуть раньше, читатель итальянский, для которого мы недавно перевели и опубликовали в отдельном томе эти записки (книга была встречена в Италии с большим энтузиазмом)[1].

Текст Мечникова с трудом подпадает под определенный жанр. В самом деле, перед нами – и мемуары, и книга странствий во время войны за объединение Италии, в которой принял деятельное участие этот чужеземец, русский юноша. И здесь – первая особенность книги: это описание воюющей страны, сделанное иностранцем; автор учит итальянский язык и исследует национальные особенности с оружием в руках, встав на сторону тех, кто желает свободы, независимости и единства своей Родины.

Вместе с тем, перед нами – социологический и этнографический очерк, включающий историко-политический анализ деятельности Гарибальди и его движения.

Автор никогда не скрывает перед своими собеседниками своего иностранного (славянского) происхождения, да и вряд ли смог бы это сделать. Он с пылом изучает страну, передвигаясь по ней самыми разными способами – на поезде, на лошади, пешком, в кабриолете, на борту корабля. Читателю представлена уникальная галерея персонажей – рабочих, ремесленников, крестьян, интеллектуалов, аристократов, дипломатов, членов каморры (типа Санджованнары), дельцов и спекулянтов, женщин с сомнительной репутацией (типа Наньеллы), священников, как формально исполнительных (Кукурулло), так и бунтовщиков (Гавацци), артистов, певцов и, наконец, множество солдат, офицеров и прочих воинов, в том числе добровольцев, да и просто искателей приключений, а также многих иностранцев.

Итальянская реальность у Мечникова необыкновенно многогранна. Географически

она сосредоточена в трех областях – в Тоскане, Кампании и на Сицилии.

Мемуарист всегда необыкновенно трезв, точен и сдержан в своих оценках. Он не «повышает голос» и не посылает проклятия своим врагам, даже когда получает от них тяжкое ранение. Вместе с тем, этот гуманист не может не прийти в ужас от вида тел солдат бурбонской и гарибальдийской армий, истерзанных пулями и снарядами. Он не может также простить бурбонским солдатам пыток и издевательств, которым они подвергали пленных гарибальдийцев. Принесенные гарибальдийцами жертвы в конце концов предопределили и бесславный конец неаполитанских Бурбонов. Описанное Мечниковым моральное разложение бурбонской армии – пьянство и мародерство – заканчивает эту картину заката Неаполитанского королевства при массовом безразличии его подданных. Но Мечников проявляет и истинную непредвзятость, не утаивая и изъяны у своих товарищей по оружию – излишнюю жесткость революционного генерала Нино Биксио или трусость некоторых гарибальдийцев под Казертой.

Перемещения по Италии позволили русскому гарибальдийцу оценить реакцию ее населения, будь то простой люд или представители элиты, на происходящие эпические события. Всякий раз любопытство Мечникова имеет отнюдь не поверхностный характер: он проявляет пронизательность и психологическую точность, давая яркие портреты как отдельных персонажей (к примеру, Наньеллы), так и целых народных групп. Вообще, народ и всё народное его необыкновенно интересует. Это особенно очевидно при описании Неаполя и ярких проявлений жизни этого великого города – фольклора, музыки, религиозности, карнавальности, каморры, его своеобразного народного творчества, в частности, песен, которые неаполитанцы прилаживают к текущему политическому моменту, и триумфальных шествий (при победоносном входе революционной армии в Неаполь они даже внешне подделывают себя «под Гарибальди»).

Среди отдельных и филигранно выписанных портретов выделяются образы священников (Кукурулло, фра Панталео, падре Гавацци), а также женские образы (Санджованна-

ра, Наньелла, Анита Гарибальди, графиня Делла Торре, маркиза Джесси Уайт-Марио). Всем им приданы точные психологические черты.

В отличие от обычных путешественников, Мечников уделяет мало внимания знаменитым итальянским достопримечательностям, и это понятно: он участник военного конфликта. Но и здесь сказывается врожденная любознательность автора, и он доносит до нас описания нескольких городов – в первую очередь, это Палермо и Неаполь, и затем, во время лечения раны, Казерта. Особенно детально представлен Неаполь – его трущобы с трактиром Санджованнары (она выступает как «авторитетный» представитель каморры, несмотря на принадлежность к женскому полу, а также как участник подготовки триумфального вхождения Гарибальди в город), неаполитанские гостиницы и особняки, в одном из которых обитает Александр Дюма, один из главных творцов европейского мифа о Гарибальди.

Мечникову чужд пафос: он во взвешенных формулировках рассказывает как о героизме,

так и о трусости и жестокости, в т. ч. проявленных самими гарибальдийцами во время отражения контрнаступления войск Бурбонов под Казертой. Пожалуй, наиболее пафосным выглядит эпизод со старухой, без устали протестующей против конфискации (даже с возмещением ущерба) ее скромного добра при обороне Капуи. В целом большую ценность представляет обширная информация о позиции итальянского Юга во время гарибальдийской эпопеи: показателен рассказ о предпринимателе из региона Абруццо Доменико Флокко, который пришел на помощь защищавшимся гарибальдийцам.

Репортаж Мечникова – это более чем дневник, так как он включает в себя важную документацию по процессу объединения Италии, состоящей тогда из, по сути дела, разных стран, порой легко совмещающихся, но зачастую противоположных друг другу. Русский гарибальдиец, будучи наблюдателем внешним, был, вероятно, более подготовлен для восприятия различий на Апеннинах, чему, вне сомнения, способствовал его лингвистический и культурный багаж, да и страсть к

наблюдению и исследованию. Одно из разительных противоречий, им описанных, – это пропасть между менталитетом пьемонтской элиты, военной и бюрократической, и менталитетом южан, в особенности, калабрийцев, которых сам Мечников назвал «дикими».

Эти противоречия в культуре, психологии, образе мышления привели к разного рода последствиям, в том числе, к возникновению южноитальянского бандитизма, ставшего язвой объединенной державы, может, и залеченной, но еще не объясненной во всей ее драматической полноте.

Последние страницы репортажа Мечникова – еще одно прямое свидетельство взаимного непонимания между Пьемонтом и Калабрией, и шире, между Севером и Югом. Его эпилог, с одной стороны, закрывает историографическую полемику, но с другой стороны – дает пищу новым дискуссиям.

Россиянин выявляет значительное присутствие иностранцев в гарибальдийском движении, в первую очередь, – поляков и венгров, а также совершает попытку вскрыть их характерные, часто противоположные черты.

В целом можно сказать, что его острый взгляд наблюдателя обращен, в первую очередь, на региональные особенности населения Южной Италии, однако подобный подход присущ ему при зарисовках гарибальдийцев-добровольцев, выходцев из Тосканы, Ломбардии, Абруццо, Калабрии, Сицилии.

На первом плане всегда остается человек, но при этом от Мечникова не ускользает и пейзаж местности, как природный, так и исторический.

Попав в Палермо, автор отмечает улицы, заваленные развалинами домов – результат артобстрела бурбонской армии, каравшей восставшую сицилийскую столицу. В Капуе он описывает древнеримскую арку – однако, не в качестве памятника античности, а как элемент будущей обороны гарибальдийцев на Вольтурно. Так, природный пейзаж, древние магистрали, рвы, кустарниковые заросли и рощи, да и сама река Вольтурно у Мечникова даны сквозь призму военной стратегии, с точки зрения возможности нанести урон бурбонским солдатам или отразить их атаки.

В Записках присутствует и экскурс в био-

графию Гарибальди и его жены Аниты. Две главы, им посвященные, имеют двойную функцию: это и исторические очерки, и база для последующих российской и европейской легенд о «герое двух миров».

В целом Записки Мечникова – это широкое полотно Юга Италии, написанное в судьбоносный момент его истории. С этой точки зрения, публикуемый нами текст является необыкновенно ценным документом, содержащим широчайшую гамму деталей о Рисорджименто. Он позволяет нам лучше понять внутренний механизм объединения Италии и грядущие его последствия, ощутимые и сегодня. Перед нами – важный элемент мозаики итальянского Рисорджименто, созданный русским автором. Это уникальная часть общего богатого корпуса гарибальдийской мемуарной литературы.

Итальянская публика прочла Записки Мечникова в начале XXI столетия, полтора века спустя после описываемых событий, и тем не менее нашла в них немало нового и оригинального.

Их автору в момент его прибытия волонте-

ром к полковнику Джованни Никотера (будущий министр собирал в Ливорно и Флоренции три сотни «молодых и сильных» для их отправки в Палермо, затем в Неаполь) исполнилось всего 22 года. Русский доброволец был исполнен огромного энтузиазма, обогащенного знаниями и опытом бурной юности. К его вооружению прибавлялись ручки, кисти, бумага – для того, чтобы записывать и зарисовывать. Мечников не был ни первым добровольцем, ни первым русским у Гарибальди. В русской историографии называют имена и других русских гарибальдийцев, даже женщин и подростков. Вообще, в 1859–1870 гг. Гарибальди находился в самом центре общественного внимания России[2].

Юношу вдохновляла справедливая борьба итальянцев против чужеземного правления, и он, несмотря на природный недостаток (хромоту), всецело отдался сложной задаче – сооружению артиллерийской батареи в уязвимом месте защиты гарибальдийцев перед грядущей, решающей битвой с бурбонскими войсками.

Сам Гарибальди пишет об этом следующее:

«Увеличив насколько возможно численность своих войск, ободренные частичным успехом, враги готовились перейти в наступление. Со своей стороны мы предприняли кое-какие оборонительные меры, которые оченьгодились у Маддалони, на Сант-Анджело и особенно у Санта-Мария, где это было крайне необходимо, так как наши позиции находились на открытой равнине, лишенной естественной защиты»[3]. Именно предусмотрительность и умение Льва Мечникова сыграли главную роль на этом участке обороны, наряду с помощью предпринимателя из Аbruццо Доменико Флокко.

Последний при встрече с Гарибальди встал на колени и поцеловал ему руку – таков был патриотический порыв итальянцев!

Об этом же порыве свидетельствует Мечников, когда описывает свое пребывание в Палермо у падре Кукурулло. Священник – через русского свидетеля – сообщает по меньшей мере три важные вещи. Во-первых, восстание против бурбонского правления было подготовлено и организовано местными кюре, приходскими священниками. Во-вторых,

существовали глубокие противоречия между рядовым клиром и епископатом, зависевшим от местных баронов-латифундистов. В третьих, падре Кукурулло размышляет о том, что одно дело – решать социальные проблемы в Неаполе, а другое – в далеком Турине, иными словами – размышляет о том, какой быть будущей объединенной Италии, унитарной или федеральной?

События идут своим чередом. Многие священники (понятно, не все), фра Панталео, падре Гавацци и другие действуют во имя объединенной Италии, но Мечников показывает растущие у них сомнения. Их источник – разные мотивы действия: русский автор показывает, что даже между прогарибальдийскими священниками фра Панталео и падре Гавацци существовало расхождение.

Падре Гавацци, как следует из главы, ему посвященной, а также из статей выдающегося русского публициста Николая Добролюбова[4], имел свои представления о Рисорджименто и его соотношении с евангельскими идеалами. Ясно, что трудно краткими словами рассказать о несостоявшемся моральном

обновлении нации в период ее становления, однако Мечникову удастся показать сложные отношения между рядовым клиром и лидерами Рисорджименто. Он делает это даже более эффективно, нежели поддержанный советской идеологией Добролюбов. Заметим, что «реакционный» журнал Каткова «Русский вестник» в те годы оказался более внимательным и открытым к итальянским проблемам, нежели «прогрессивный» «Современник» Некрасова и Чернышевского.

В таком случае, возникает вопрос: каким образом 22-летний неизвестный автор сумел опубликовать на страницах «правого» журнала заметки о Гарибальди и о итальянской революции – о сюжетах, считавшихся весьма «левыми»?

Начнем с того, что здесь подтверждается тезис историка Джузеппе Берти об «открытости» русской публики к проблематике движения итальянцев за объединение страны, в особенности после поражения ни колаевской России в Крымской войне[5]. Новый император Александр II проводил тогда политику, напоминающую политику его просвещенно-

го дяди Александра I, который поддерживал итальянский либерализм в пику Австрии. Поддержка Рисорджименто в Петербурге означала создание противовеса по отношению к стремлению Франции к гегемонии в Средиземноморье и Австрии – на Балканах. В этом – ключ к внешней политике России на Апеннинском полуострове, при том, что одновременно тогда идет «большая игра» двух империй, Британской и Российской, каждая из которых желает получить Италию в свою «команду».

Однако российское правительство, как и другие европейские, желало рассматривать объединение Италии как некое династическое расширение Савойского дома, позволяющее избежать рискованных сценариев социальной революции. Это прекрасно понимает и Гарибальди-политик (весьма прагматичный, вопреки его романтическому ореолу), который завладевает южными территориями «во имя Италии и Виктора-Эммануила II». Он методично придерживается этой линии, не боясь вступать в конфликт с республиканскими порывами Мадзини и его последователей,

встречавшимися и среди краснорубашечников. Можно сказать, что предпринятая по инициативе Кавура савойская оккупация областей Умбрии и Марке положила конец надеждам на социальную революцию на Юге, одновременно облегчив задачу всем тем, кто, подобно гарибальдийскому генералу Нино Биксио, желал лишь объединения Италии. Тот же Биксио жестоко подавил восстание сицилийских крестьян возле городка Бронте (4 августа 1860 г.), что стало началом других репрессивных действий объединенного государства против обездоленных южно-итальянских крестьян и горожан. Даже сам Гарибальди в таких протестных выступлениях держался унитарной державности. Вот что он пишет о волнениях крестьян в Кампании: «Передовые колонны нашей Южной армии, едва подойдя к Неаполю, были направлены в Авеллино и Ариано для подавления реакционных восстаний, поднятых священниками и сторонниками Бурбонов. Миссия эта была возложена на генерала Тюрра, и он ее блестяще выполнил»[6].

Мечников дальновидно показывает, как

прибытие пьемонтской администрации вызывает вздох облегчения у имущего класса, одновременно способствуя расслоению на тех гарибальдийцев, которые, как Биксио, верно-подданнически служат савойской короне, и тех, кто подобно кала брийским волонтерам полагает унижительным сдавать добытое в боях оружие – пусть и в обмен на почести от новых правителей. Таковы были симптомы болезни, вспыхнувшей после объединения и получившей название «бандитизм» (brigantaggio): ради его подавления правительство разрушило немало сел и деревень и уничтожило около десятка тысяч человек[7].

В тот момент Гарибальди, как и многие его приверженцы, временно удалился от дел на остров Капрера. Он не мог не прислушиваться к тому, что происходило в новой Италии и оставаться равнодушным к пережиткам старого правления, в первую очередь – к сохранившейся светской власти Римских пап. С этой точки зрения, очень важны тексты Мечникова, статьи и письма, которые рассказывают о событиях тех лет в Италии вплоть до 1864 г., когда он переехал в Женеву, ставшую

на десятилетия центром русской политической эмиграции.

Каковы же были размышления Мечникова после завершения гарибальдийского «похода Тысячи»? Очень многое выражено в его письме к Чернышевскому, проанализированном киевским историком Николаем Варварцевым[8]. Незадолго до ареста русский публицист получает из Италии от Льва Мечникова письмо, отправленное 20 июня 1862 г. (нов. ст.) со статьей о Джузеппе Мадзини. Позднее, в середине июля того же года Мечников пишет Чернышевскому письмо с рассказом о том, как был отстранен от журнала «Flagello» и с предложением целой серии статей для «Современника» по политической панораме Италии. Приведем этот интересный проект Мечникова: 1) Манин – Венеция в 1848–1849 гг.; 2) Мадзини – лидер движения в Риме в 1849 г.; 3) Каттанео – Ломбардия в 1848 г.; 4) три экспедиции – братьев Бандьера, Пизакане, Гарибальди; 5) В. Джоберти; 6) Ч. Бальбо; 7) Кавур (вместе с двумя предыдущими темами, эта статья мыслилась как анализ курса пьемонтского правительства в от-

ношении объединения страны, конституционализма и нации); 8) Пьемонт в 1848 г.; 9) Неаполь в 1848 г. (министр Тройя, радикалы, Поэрио и т. п.); 10) Сицилия в 1848 г.; 11) Леопарди и Джусти; 12) Тосканский триумvirат (Гуэррацци, Монтанелли, Маццони); 13) Южная Италия в 1862 г.[9]

Отношению Мечникова к процессу объединения Италии уделил внимание и итальянский историк Франко Вентури в своем глубоком труде «Il populismo russo». Он пишет, что Мечников верил в «спасение Италии через буржуазно-христианский мир, который должен возродиться, породнившись с новым элементом, славянским миром, и создав вместе с ним вселенскую федерацию ради избавления от пережитков христианского феодализма и буржуазии»[10].

В целом Лев Мечников, в самом деле, оценивал итальянское Рисорджименто как истинное возрождение. Увы, арест Чернышевского в июне 1862 г. и закрытие «Современника» (на 8 месяцев) не дали состояться этому интереснейшему проекту. В русской периодической печати позднее появились лишь ча-

стичные фрагменты итальянской «мозаики» Мечникова.

Особенно интересен один такой очерк – «Капрера»[11]. В нем автор, подписавшийся псевдонимом Л. Бранди, ясно и выразительно описал отношения, точнее разногласия (по крестьянскому вопросу) между Гарибальди и тогдашней Партией действия: ни эта партия, ни т. н. «умеренные» даже не пытались облегчить положение крестьянских масс, в отличие от Гарибальди. Гениальный вождь остался непонятым даже своими близкими сподвижниками: его удаление на Капреру стало символом крушения многих надежд. Одновременно Гарибальди разглядел глубокие идейные перемены среди своих помощников – те перемены, которые привели, к примеру, Франческо Криспи в стан реакции и зачинателей колониальных походов Италии. Гарибальди почувствовал поражение демократических идеалов и свое одиночество.

Интерес к Гарибальди в русском обществе, тем не менее, не спадает. Отношение к нему сконцентрировано в одной фразе (1860 г.) тогда еще молодого Менделеева, отнюдь не ре-

волюционера – «Счастлива страна, которая может назвать, может производить таких людей!»[12]. Его восхваляют писатель И. С. Тургенев, корреспондент Маркса П. В. Анненков, царский цензор А. В. Никитенко. Профессор С. П. Шевырев сочинил целую поэму: «Герой – пустынный с острова Капреры, / И грозный вопль из уст его гремит: / Рим или смерть. И громоносным криком / Сицилию, Калабрию трясет; / Зовет народ в безумии великом: / На Рим! на Рим! И раненый падет. // Не Гарибальди ранен, нет, природа / Его крепка – и выше ран стоит: / Та рана в теле у его народа / Всей скорбию Италии болит»[13]. Но не только рана, полученная Гарибальди в Аспромонте, или его добровольная ссылка на остров Капрера, но и события Третьей войны за независимость (1866 г.) привлекают внимание в России.

Об этой войне писал В. О. Ковалевский, посланный корреспондентом «Санкт-Петербургских новостей» в штаб Гарибальди. Согласно В. Е. Невлеру, народник Ковалевский сумел отразить личный героизм Гарибальди и энтузиазм верившего ему народа, и одновремен-

но – дистанцированность итальянского правительства от гарибальдийских волонтеров [14].

В период после временного закрытия «Современника» положение Мечникова изменилось не только в журналистской, но и в личной сфере. Он встречает женщину своей жизни – Ольгу Ростиславовну Скарятину. Обычно в исторических трудах о Мечникове мало пишут об этом романтическом сюжете. Многие приоткрылось благодаря историку и литературоведу Н. П. Анциферову, который в 1956 г. опубликовал переписку Скарятиной с Герценом [15].

Ольга Скарятинна (1834–?) была замужем за Владимиром Дмитриевичем Скарятиным, бывшим морским офицером, сибирским золотопромышленником, в 1860-е гг. ставшим деятельным публицистом: он писал из Италии корреспонденции в «Русский вестник» с позиций умеренного либерализма и парламентаризма английского типа. Его супруга была не удовлетворена браком, но, тем не менее, прибыла с дочерью Надеждой к мужу в Тоскану, преодолев Кавказ и Константинополь. Соглас-

но недавнему беллетризованному рассказу, Мечников и Скарятин познакомились во Флоренции, на приеме, который дали супруги [16]. Автор рассказа полагает, что именно муж Скарятиной протезировал юного литератора-революционера в «Русский вестник» Каткова: для Мечникова, несомненно, было почетно появиться на страницах журнала, печатавшего Лескова, Тургенева, Льва и Алексея Толстых, но при этом считавшегося «правым».

Из переписки Скарятиной с Герценом возникает образ мятущейся женщины: она, в действительности, пыталась даже покончить жизнь самоубийством, о чем сообщала Герцену. Вскоре «события разворачиваются с головокружительной быстротой: Ольга бросает своего безупречного мужа, его миллионы, сделанные на золотых приисках Енисейска, названных им «русской Калифорнией», и уходит к нервному, бедствующему, хрому вследствие болезни, перенесенной в детстве, а теперь еще и ранения, поручику-гарибальдийцу. Скандал разразился невероятный. Оскорбленный Владимир Скарятин покидает

Италию, оставив там бывшую жену и пятилетнюю дочь»[17].

Положение Мечникова осложнилось. Необыкновенно талантливый, обладавший огромной любознательностью и разного рода талантами (включая литературный), он с целью содержания Ольги и ее дочери был вынужден заниматься поденным трудом. В Италии он становится *persona non grata* и его высылают полиция, что документирует Н. Варварцев[18]. Лев и Ольга переезжают в Женеву, где, несмотря на поддержку русской эмигрантской среды, Мечникову едва удается сводить концы с концами.

Вероятно, в такой обстановке у него родилась идея отправиться корреспондентом в Испанию, где назревала революционная ситуация. Оттуда он шлет серию статей, опубликованных в «Отечественных записках». Политически он всё более сближается с идеями народничества и социализма, хотя и отмечает у нового революционного поколения, вместе с готовностью на героизм, чуждый ему «догматизм, аскетизм и фанатизм»[19].

Вместе с тем, в период с 1864 по 1874 гг.

эмигрант опубликовал множество текстов по Италии. На том этапе его интересы сместились в сторону литературы, однако со свойственной ему глубиной и пронизательностью он помещает филологию в историко-политический контекст. Вероятно, сознавая свое собственное устремление сочетать общественный пафос с литературой, Мечников интересуется в первую очередь писатели-патриоты, такие, как Джузеппе Джусти и Франческо Доменико Гуерацци. Он пишет также, в сходном ключе, важный очерк о политической мысли в итальянской литературе, от Данте Алигьери до Чезаре Бальбо.

Ради достойного заработка Мечников решается на другое, воистину героическое, с научной точки зрения предприятие – выучив японский язык, получить кафедру в Японии, что ему и удалось сделать, в 1874 г. Он не мог поехать в Японию через Россию, и поэтому отправился туда через США, где принял гражданство. Пробыв в Стране восходящего солнца два года, он завоевал уважение коллег, досконально изучил местную культуру и собрал материал для будущей книги. Однако его здо-

ровье окончательно пошатнулось и ему предписали вернуться в Европу. Итогом его японского опыта стала выпущенная в 1881 г. книга «L'Empire Japonais» – почти 700-страничный трактат, с собственноручно выполненными географическими картами, рисунками в японском стиле и редкими тогда фотографиями. С изданием помог коллега и покровитель Мечникова, видный французский географ Элизе Реклю. Монография о Японии получила заслуженную известность, но следует напомнить, что неутомимый исследователь опубликовал еще с десятков книг о восточных народах и их языках, став пионером и в востоковедении.

Снова обосновавшись в Швейцарии, Лев пишет множество статей на различные географические, этнографические и культурологические темы. Он становится секретарем издаваемой Реклю 19-томной «Nouvelle Géographie Universelle» [«Новая всемирная география»]. Он много пишет и в русскую прессу, но под псевдонимами (Эмиль Денгри, Виктор Басардин, А. Д., В. Б. и др.) Среди важных его работ того периода – «Душевная

гигиена» (1878), «Культурное значение демонизма» (1879), «Вопросы общественности и нравственности» (1879), «Жан-Жак Руссо» (1881), «Школа борьбы в социологии» (1884).

В 1881 г. под псевдонимом Виторио[20] Отолини он публикует роман «Гарибальдийцы», где отразились в беллетризированной форме те же самые события, которые описаны в публикуемых нами «Записках». В начале 80-х гг. он создает главный труд своей жизни, опубликованный по-французски уже посмертно – книгу «Цивилизация и великие исторические реки» с анализом устройства общества и освоения им географической среды (на русский язык книга была переведена дважды в 1898 и в 1924 гг.). Согласно автору, подневольные союзы людей могут освоить только исторические реки (Нил, Тигр и Евфрат, Инд и Ганг, Янцзы, Хуанхэ), подчинённые – уже средиземные моря, и только свободные народы – океаны. Его заветом будущему можно считать следующее слова: «Смерть или солидарность – других путей у человечества нет. Если оно не хочет погибнуть, то люди неизбежно должны прибегать к солидарно-

сти и к общему коллективному труду для борьбы с окружающими неблагоприятными условиями физико-географической среды. В этом заключается великий закон прогресса и залог успешного развития человеческой цивилизации».

Жизнь Льва Ильича Мечникова была относительно краткой: он скончался 18 июня 1888 г. в возрасте 50 лет в швейцарском городе Кларансе и там же был погребен (могила утрачена). Несмотря на эту краткость, она была исполнена высокого смысла и динамизма. И за это нам его нельзя забывать.

Предпринятая нами публикация служит именно этой цели.

Главный трактат Л. И. Мечникова «Цивилизация и великие исторические реки» был недавно дважды, в 1995 г. и в 2013 г., переиздан (в переводе 1924 г.) [21], и теперь его автора называют «отцом русской геополитики» [22]. Имеет смысл пристальнее обратиться к его текстам, посвященным Италии и открывающим новые горизонты как для итальянистики, так и для изучения русского народничества. Сейчас становится ясно, что обще-

ственные и геополитические взгляды Мечникова не совпадали с главным идеологическим течением той эпохи, с марксизмом, что явилось причиной малого внимания к нашему автору в советскую эпоху, несмотря на его революционную деятельность. Он не был понят и своими товарищами по политической эмиграции, в первую очередь, Бакуниным и другими анархистами.

Были правы исследователи его наследия А. К. и О. В. Лишины, писавшие: «Несмотря на давний интерес историков и литературоведов к жизни и деятельности Мечникова, его научная биография до сих пор ещё не составлена, не изучено сколько-нибудь обстоятельно его научное и литературное наследие, не освещена его роль в русском и международном общественном движении того времени» [23].

Пришла пора вернуть Льву Мечникову заслуженное место в европейской историографии, не только как аналитику итальянского Рисорджименто, но и в целом как мыслителю мирового уровня.

Надеемся, что впервые издаваемые как

книга его «Записки гарибальдийца» этому по-
способствуют.

Ренато Ризалити
Пистойя, март 2016 г.

перевод Михаила Талалая

Записки гарибальдийца

Вскоре после взятия Палермо, когда Гарибальди явно выказал намерение продолжать так блистательно начатое предприятие [24], во всей Италии стали собирать волонтеров, из которых образовались три бригады: две в Генуе и одна во Флоренции. Правительство сначала не только не препятствовало их формированию, но даже уступило для последней один из казенных замков, *Castel Pulci*[25], в пяти милях от Флоренции. Пьемонтские офицеры, со своей стороны, содействовали, чем могли, этому предприятию. Когда же, по распоряжению центрального комитета, начальство над флорентийскою бригадою принял полковник Джованни Никотера[26], родом калабриец, один из двадцати пяти, высадившийся с Пизакане близ Сапри, и за это осужденный на пожизненное заключение в одной из палермских тюрем, человек энергичный и воспитанный в убеждениях мадзиниевой «Юной Италии», то губернатор тосканский Риказоли[27], резко заявил комитетам недовольство правительства этим выбо-

ром и совершенно прекратил все правительственные пособия. Вскоре после того, когда бригада получила трехцветное знамя без сардинского герба, и когда не в шутку стали поговаривать о том, что Никотера вовсе не имеет желания вести своих волонтеров к Гарибальди на Сицилию, а хочет высадиться с ними в Папские владения[28], правительство, частью по требованию иностранных агентов, частью по собственным побуждениям, предписало волонтерам разойтись. Предписание это исполнено не было, и Риказоли приказал арестовать полковника Никотеру и отвезти его в одну из флорентийских тюрем.

Тогда волонтеры отправили депутацию к губернатору, прося об освобождении полковника и угрожая в случае отказа нападением на Флоренцию, где в это время было очень мало войска.

Рикасоли освободил Никотеру, но с условием, чтобы тот на следующий же день отвел волонтеров в Ливорно, где найдет заготовленные пароходы, на которых может отправиться куда ему будет угодно, но взял с него честное слово, что он Папских владений не тро-

нет, не «посетив предварительно родного ему калабрийского берега».

Губернатор, со своей стороны, обязывался еще выдать двадцать четыре тысячи франков на путевые издержки и снабдить отправлявшихся съестными припасами на семь дней.

Волонтеры должны были сдать ружья на сардинские полковые фуры и получить их обратно уже на пароходах при выходе из ливорнского порта.

Пока происходило всё это, Гарибальди взял Милаццо и приближался к Мессине. Доходившие слухи о подвигах его в Сицилии до крайности раздражали нетерпение бедных тосканских волонтеров, осужденных пока на утомительную казарменную стоянку.

Наконец, 30-го августа [1860 г.], настал желанный день похода.

I. Отправление

Солнце начинало жарить не на шутку. Солдаты давно стояли в рядах, нетерпеливо ожидая желанного сигнала; побаивались, чтоб отъезда не отложили до другого дня, как это не раз уже бывало. Красные рубахи офицеров, резко отделяясь от серых блуз рядовых, мелькали там и сям. В тени сгруппировалась живописная кучка возле знамени: кто сибаритски расположился на земле, кто важно сидел на барабане, покуривая сигару; с утра оседланные лошади стояли тут же. Никотера был нетерпеливее всех, или по крайней мере сильнее всех это выказывал то отрывочными восклицаниями, то всеми мускулами своего энергического лица.

На небольшой площадке, в стороне, укладывали тюки ружей на военные фуры. Карabinерные офицеры, назначенные от правительства для наблюдения за этим, важно сидели в тени. Назначенные для той же цели офицеры из волонтеров принимали более деятельное участие. В полной форме, с трехцветными шарфами через плечо, одни лази-

ли на самый верх высокой фуры; другие помогали тащить огромные тюки. Рыженький пармеджьян[29], раскрасневшись от жару, весь в поту, в фуражке на затылок, особенно бегал и суетился; коренастый римлянин с очень строгим профилем сохранял величавое спокойствие, но был более полезен делу...

Нетерпение возрастало вместе с жаром. Пестрая толпа контадинов[30] усеяла ограду и перекрикивалась с волонтерами, стоявшими под ружьем; другие, более смелые, ломились в ворота, и часовые едва сдерживали их.

Наконец, – ведь всему бывает конец, – плечистый фурлейт[31] вскочил на одного из мулов последней телеги, барабан затрещал, и полковник первый выехал из ворот на своем гнедом жеребце, которого успел уже замылить и зашпорить. Весело шли волонтеры с некрутой горки. *Addio, Castel Pulci!*[32] – раздавалось сквозь бой барабана. Контадины бежали по сторонам, прощаясь, многие в последний раз, с дорогими сердцу. Женщины махали огромными соломенными шляпами; редко кто плакал. Во всех окнах мелькали трехцветные знамена. «*Viva l'Italia!*»[33] сливалось в

протяжный гул...

Быстро мелькали мимо знакомые места; офицеры едва сдерживали солдат, которые почти бежали, так что нагоняли поминутно главный штаб, ехавший впереди верхом. В стороне дороги, около 1-й роты, бежала женщина лет тридцати пяти, когда-то должно быть очень красивая. Жена капитана, она хотела до последней минуты быть при нем, и для облегчения его участи несла сама что могла из его амуниции. Башмаки ее набились песком; она спотыкалась на каждом шагу, и наконец упала в совершенном изнеможении... Кто мог остановиться, поспешил помочь ей.

«Наконец-то мы выбрались», – услышал я над самым ухом. Я обернулся, – возле меня стоял мой *ordinanza*, денщик, мальчик лет четырнадцати, с нежным лицом, вспыхнувшим от жару. Большие черные глаза его сияли от радости. Сын пизанского работника, он бежал от отца и пришел во Флоренцию, чтобы записаться в волонтеры. С ним не было необходимых бумаг – ему отказали. Он возвратился в Пизу и через день пришел с надлежащими

документами; ноги его были в крови, он почти валился от усталости. Ему опять отказали, основываясь на том, что он слишком мал для фронта; мальчик начал плакать. Над ним сжалились, но принять его не могли, так как в барабанщики вакансии не было. Оставалось, чтобы кто-нибудь согласился взять его в денщики. Я попросил его себе, и не знаю сделал ли хорошо, или дурно. Во всяком случае, желание его было так благородно, и притом он с такою недетскою энергией стремился к своей цели, что я не мог не способствовать ему к ее достижению. Он был принят как раз накануне отправления и экипирован на скорую руку: какой-то старый кепи национального гвардейца, блуза почти до пяток, засученные штаны и лакированные башмаки на босую ногу. Прибавьте еще тесак почти во всю длину его фигуры и пьемонтский *sacc'a rane*[34], из которого выглядывали *Confessions* Жан-Жака Руссо и *Осада Флоренции* Гверрацци[35], взятые мною для услаждения досугов казарменной жизни, куда-то мною брошенные во время последней суматохи и им подобранные из особенного усердия ко мне.

В Синье ожидал нас поезд железной дороги, и к вечеру мы были в Ливорно.

Нас встретили исключительно карабинеры, кажется, все бывшие в то время в Ливорно. Капитан над портом тотчас же предложил полковнику отправиться на заготовленные, по распоряжению Риказоли, пароходы... На одной из последних барок, нагруженных порохом, подъехал я к борту. Нас отказались принять, говоря, что и без того уже нагружены до крайности. Приходилось провести ночь на барке. Я не ел ничего с утра, – но *à la guerre comme à la guerre*[36]; я уместился, как мог комфортабельнее на мешках, и рекомендовав остальным не курить, завернулся в плащ и приготовился уснуть... Несмотря на усталость, мне не спалось. Много пробуждалось в голове такого, о чем я вам рассказывать не буду.

Ночь была тиха, море спокойно. Суда рисовались темными массами на легком фоне ясного неба. Кое-где мелькали огоньки. Картина была фантастически хороша. Барку постоянно ворочало течением, и трудно было составить определенное понятие о местности.

Незаметно я уснул...

Наутро солнце ударило мне в глаза, едва появившись на горизонте; я проснулся. Была суматоха. Утренний ветерок всколыхал море, и барка стала держаться очень беспокойно. С парохода (оказался голландский, «Рона» из Роттердама) не хотели дать каботы[37]. Солдаты не могли объясниться с матросами. Пришлось мне перелезть на пароход. Я спросил капитана; его не оказалось; старшего офицера тоже. Явился какой-то господин в байковой рубахе. Кое-как, при помощи немецкого и английского языков, я объяснился с ним. Он мне пожаловался на волонтеров, проведенных ночь на пароходе, и объявил, что капитан съехал до рассвета и запретил без себя входить в какие бы то ни было сношения с «галибардейцами».

Пришел офицер сменить меня и сказал, чтоб я ехал на французский пароход *Provence*, что там полковник и весь штаб, и что там можно позавтракать и отдохнуть... Во время переезда мы встретили два парохода, только что пришедшие из Генуи. Вся палуба была усеяна красными рубахами. Громогласные

Viva неслись оттуда. Эта была часть раскассированной, по распоряжению правительства, экспедиции Бертани[38], приехавшая присоединиться к нам. На французском пароходе мы были приняты любезнее. На палубе нельзя было ходить, так она была полна солдатами. В каютах обоих классов толпились офицеры. Полковник, мне сказали, очень занят в каюте капитана. Офицеры сидели праздно. Некоторые спали, иные играли в шахматы. Из разговоров я узнал, что дело плохо, что, Риказоли обещания сдерживать, кажется, не намерен, что капитан и тут съехал на берег и увез с собой весь экипаж; что французский консул приходил к полковнику, и говорили они между собой очень круто...

Едва уселись за стол к завтраку, с берега послышался барабанный бой, потом вошел лакей и отозвал полковника. Началось смятение. Мы вышли на палубу. Вокруг нас очутились военные сардинские пароходы; на моле возились около пушек. Немного погодя, возвращаюсь в каюту. Возвратился и полковник. Он был бледнее обыкновенного, и губы его были искусаны в кровь. За ним вошел капи-

тан над портом, вдали виднелись треуголки и прочее.

– Господа, – задыхаясь, сказал Никотера, – мы попали в ловушку. Вчера нас боялись и нам обещали. Сегодня мы в их руках, и нам предлагают сдаться, без условий, военнопленными. Если бы дело шло о нас одних, – наш ответ готов. Но мы отвечаем за жизнь двух тысяч благородных юношей, которые могут употребить ее с пользой для отечества. Сопротивление невозможно при такой обстановке.

Он указал на мол, который был виден в круглое окно каюты. Собрали наскоро военный совет; наговорили много чепухи; много было честного увлечения, но идущего к делу – мало; наконец решили, что сила солому ломит, и сдались. Капитан над портом вышел на палубу объявить солдатам обо всем случившемся, и прибавил, что если кто хочет возвратиться домой, тому будут даны от правительства средства исполнить это. Его освистали. Решено было наутро, обезоружив нас, препроводить в Палермо в распоряжение диктатора[39]. Солдаты остались довольны.

Капитан над портом приказал карабинерам приняться за выгрузку ружей. Седой поручик обратился ко мне, чтоб я ему сдал их. Это конечно была пустая формальность, но я отказался выполнить ее, не имея на то приказа от своего начальства. Карабинерный поручик вспыхнул:

– Да знаете ли, с кем вы имеете дело?

– Мне не в первой. Я имел дело и с такими, которым вы в ученики не годитесь.

– Да ведь я могу приказать своим отобрать их у вас, и не спрашивая на то вашего согласия.

– Конечно; но получить мое согласие вы не можете.

– Эх, молодые люди, молодые люди! – проворчал старик, и приказал карабинерам отправляться в трюм.

В каюте между тем произошло новое волнение. Полковник объявил, что он намерен оставить предприятие и воспользоваться позволением возвратиться домой.

– Вы не можете этого сделать, – заметил один из офицеров, воин 48-го года[40], – если только вы, как честный человек, намерены

сдержатъ слово, данное вами солдатам. Вы конечно еще не забыли, что неоднократно обещали нам не оставлять начатого предприятия, пока не исполните всего, что́ будет во власти человека.

Слова эти были сказаны раздраженным желчным голосом. Никотера стал высказывать свои доводы. Офицеры единодушно опровергали их, и он должен был согласиться вести экспедицию в полном ее составе в Палермо, с тем, что если там продиктатор де Претис[41] не будет благоприятнее к нашим целям, всякий имеет право выйти в отставку и считать себя освобожденным от данного слова.

Наутро бóльшая часть экспедиции отправилась на двух накануне пришедших пароходах: «Феб» и «Гарибальди»; мне же пришлось ожидать с кавалерией, то есть с гвидами[42], и с несколькими ротами пехоты, пока оснастят парусное судно *S. Nicola*, стоявшее на якоре в конце порта. В город не было возможности войти даже в штатском платье. На пароходе было душно и грязно. Я вообще не люблю парохода; меня сейчас берет тоска по твер-

дой земле.

На недостроенном моле расположена была часть экспедиции, которой не нашлось места на судах. Почти целые сутки просидели там эти несчастные без съестных припасов, и даже без воды, а всё же весело расхаживали и пели. Когда я вышел к ним, меня окружили вопросами со всех сторон: «Скажите, что полковник? Скоро ли мы едем? Другие счастливицы придут к Гарибальди прежде нас?». Обо всем этом я знал столько же, сколько и они. Почти вслед за мной пришли барки, нагруженные хлебом, сыром и вином. Их встречали радостными криками.

Наутро всё было готово. После утомительных хлопот по нагрузке лошадей, почти ввечеру мы снялись с якоря. Маленький буксир *Il Veloce*[43] взял нашу барчонку, и мы отправились. Солдаты расположились на палубе. Трудно было себе представить, с каким восторгом эти несколько сот молодых людей шли на неровную, ожидавшую их борьбу. Между ними немало было маменькиных сынков, привыкших к комфорту и роскоши, а теперь они с восторгом запивали кислым ви-

ном окаменелый сыр и совершенно спокойно дремали на голых досках, завернувшись в толстую шинель...

Ветер был попутный; судно шло на всех парусах, и пароход уже не тащил его, но едва убежал, вздымая пену...

II. Палермо

Было почти темно, когда мы бросили якорь. Явился офицер в красной рубахе и морской фуражке, с приказанием немедленно отправляться в город. Лучше этого мы и не желали. Несмотря на то, что приказание выполнялось со всевозможною скоростью, мы только ночью успели выбраться. Солдат тотчас же отправили в казарму у *Quattro Venti*[44]; фрунтовых офицеров поместили тут же. Остальным должны были дать частные квартиры. Пока хлопотали, кто о вещах, кто о другом, я спокойно уселся на тумбочку у ворот, благодаря тому, что мой маленький *ordinanza* во время суматохи растерял все мои вещи. Стоявшие возле меня офицеры, исправлявшие должность плац-адъютантов, тотчас же приступили ко мне с вопросами обо всем случившемся.

ся с нами в Ливорно. Они, как казалось, не очень сочувствовали нашему предприятию. Всё это были прежние офицеры бурбонской армии, перешедшие на службу нового правительства. Впрочем, скоро они переменяли тон и стали относиться ко мне со всей неаполитанской добротой и простодушием. От них я узнал, что первая половина нашей экспедиции, прибывшая тремя днями прежде нас и только что отправившаяся, была принята продиктатором очень дурно; солдатам запрещено было выходить из казарм, так что полковник Никотера тотчас же вышел в отставку, и с ним большое число офицеров; что после этого остальных перевели в лучшую казарму и позволили им проводить день в городе и в окрестностях, с тем чтоб они к вечерней переключке возвращались.

Подошел немолодой офицер, маленького роста и полный. Впотымах нельзя было разглядеть ни лица его, ни платья. Мы, собеседники, по военному поклонились ему; один из них шепнул мне, что это комендант Палермо, полковник Ч***, друг Гарибальди. Другой представил меня ему как члена вновь при-

пешней экспедиции. Комендант спросил у меня, сколько человек в нашей партии и еще что-то, касающееся того же. Я спросил его, что намерены делать с нами, и долго ли мы будем оставаться в Палермо.

– А не знаю, – сказал он, – мы уже уведомили о вашем прибытии диктатора, но мы не знали, что вас так много. Впрочем ему это будет приятный сюрприз; в настоящее время ему люди нужны. В ожидании его распоряжения, вы пробудете здесь. Товарищи ваши, отправившиеся сегодня вечером, сами не знали, куда их везли... Да вы ломбардец? – спросил он вдруг совершенно неожиданно.

Я отвечал отрицательно.

– И не венецианец?

– Нет, даже не итальянец, – сказал я, чтоб избавить бедного старика от труда пересчитывать все провинции Италии.

– Так вы венгерец, – заметил он уже вовсе не вопросительно.

– И то нет. Я славянин.

Если б я сказал, что я троглодит, это бы меньше удивило коменданта. Глаза его блеснули в темноте и обегали меня с ног до голо-

ВЫ.

– Да, великая и эта нация, – прибавил он после нескольких минут молчания.

– Вот тебе квартирный билет, да пойдем ужинать, – сказал подошедший ко мне адъютант главного штаба.

Слово *ужинать* странно прозвучало мне после нескольких дней, проведенных на пище, которую и сам Св. Антоний не почел бы роскошной. Мы уселись в коляску и отправились. Было так темно, что города решительно нельзя было рассмотреть.

– *Santo diavolone!*[45] – закричал вдруг кучер, остановив свою клячу и слезая с козел, – ведь придется назад ехать.

– А что?

– Да вишь завалили как улицу, проклятые...

– Кто такие?

– Известно кто! Камня на камне не оставили в городе. Сколько домов развалилось совсем! А ведь всё на улицу валится; так где же тут проехать, да еще ночью.

Все это мы скорее угадали, нежели поняли, благодаря особенности сицилийской речи, ко-

тору и сами сицилийцы не всегда понимали бы, если бы не примешивали к разговорам выразительную жестикуляцию.

Возвращаться мы не имели желания, а потому вылезли из экипажа и расспросили у кучера, где найти какой-нибудь трактир. Не поняв и половины им сказанного, мы отправились бродить по узким переулкам. Споткнувшись бесконечное число раз, поворачивая по вдохновению то направо, то налево, руководимые инстинктом голодных желудков, мы добрались наконец около полуночи до трактира.

В ярко освещенной зале, за накрытыми столами, сидело человек до тридцати офицеров и солдат, в живописных костюмах; прислуга бегала и суетилась. Мы с трудом нашли место. Предметом общего разговора были последние их подвиги при Милаццо[46]. Многие носили на себе явные следы этих подвигов. Большинство были ломбардцы, которые перемешивали свои рассказы такими энергичными, и ни к кому не относящимися ругательствами, и так мало уважали Св. Мадонну, что набожные сицилианцы неоднократно

скрещивали на груди руки и с ужасом восклицали:

– *O Santo diavolone! Se è possibile di bestemmiare così!*[47]

Мы были встречены очень дружелюбно. Заговорили опять о наших приключениях в Ливорно. Многие нас оправдывали, сочувствовал мало кто. Все единодушно одобряли нашу решимость.

Выйдя из трактира в первом часу, я не без труда нашел экипаж. Оставалась еще не легкая задача разыскать мою квартиру. К счастью оказалось, что билет мне был выдан священнику прихода *S. Giovanni*[48], которого извозчик знал лично. Только нужно было забраться на другой конец города, и многие из улиц, по которым лежал путь, были завалены баррикадами и развалинами домов, так что приходилось объезжать. Наконец мы доехали. Я отправился по темной лестнице, указанной мне извозчиком, и принялся изо всей силы стучаться в дверь. После получаса, проведенного в этом приятном занятии, сквозь бесшумный лай всех собак околотка, раздался испуганный голос:

– Кто там?

Я спросил *padre Cucurullo*.

– Да чего от него хотят, от *padre Cucurullo*?

– Отворите, узнаете. А кричать через дверь не хватить голоса.

– Но кто вы?

– Гарибальдийский офицер.

Затем в полуотворенную дверь просунулась голова, освещенная лучерной[49]. Я объяснил причину своего появления и стал извиняться в причиненном беспокойстве.

– Ах, Боже мой! – сказал он, – как же это в самом деле! Вы устали, вам нужно отдохнуть, а у меня всего одна только постель, на которой я сам сплю. Если б еще меня предупредили с вечера. Войдите, войдите пожалуйста, – прибавил он, заметив, что я, озадаченный странным приемом, не трогался с места, – кое-как устроимся. Я ведь к тому говорю, что эти господа в *municipio*[50] ничего сообразить не хотят. Говорят большой дом, ну и шлют на постой, а во всем доме только и есть одна обитаемая комната».

Мы вошли. Хозяин мой был молодой человек, с красивым круглым лицом, на котором в

настоящую минуту сияло казенное добродушие. Время от времени, он углами глаз поглядывал на меня. Манера смотреть прямо в лицо вообще не в ходу у католического духовенства. Комната его была большая, чистая. Смятая постель стояла в одном углу. Над ней серебряное Распятие, с засушенной пальмовой веткой. Вокруг стен полки с книгами; между окнами письменный стол; на нем книги, бумаги и поповская шапочка... Он взял лучерну, и мы отправились через несколько темных и сырых комнат и через сакристию. В маленьком, совершенно пустом чулане, он остановился. «Подождите здесь», – сказал он и исчез. Немного погодя, он возвратился с запасами подушек и постельного белья, и мы вместе принялись за устройство походной кровати. Во всё продолжение операции, он постоянно извинялся за то, что не может доставить мне комфорта, какого бы хотел. Мне было неловко, что я разбудил его так поздно и причинил ему столько хлопот. Разговор наш был обменом очень вежливых извинений.

Когда я улегся, он сел возле меня, и стал спрашивать об успехе Гарибальди в Ка-

лабрии. Я не мог удовлетворить его любопытства.

– Так вы разве не оттуда?

Я сказал откуда я. Он заговорил о нашей экспедиции, и о ливорнских происшествиях, так как мало кто говорил со мною о них. Он увлекался.

– Я мало знаю католическое духовенство, – откровенно сказал я ему, – и потому не совсем ожидал услышать от священника то, что слышу от вас.

– Как, разве я сказал что-нибудь лишнее? – спросил он, почти испугавшись.

– Мне вы ничего лишнего не сказали; а вот будь на моем месте какой-нибудь *vescovo* (епископ) или *caponico*[51], вы бы ничего не потеряли, не сказав им ни одного слова в этом роде.

– Да я с *vescovo* или с *caponico* говорить об этом не буду, а с вами не знаю, почему разговорился.

Я спросил у него, какого вообще мнения духовенство о последних событиях.

– Высшее духовенство думает разумеется так, как вы сами знаете. Что же касается нас,

приходских священников, – сказал он гордо, – уверяю вас, что все мы были во главе движения. Народ давно нами к этому подготовлен и верит нам. То есть верил, а что теперь делается, то мы в этом руки умываем. Мы первые хотели присоединения Сицилии к общему нашему отечеству, но мы не думали терять административную нашу автономию; вина не наша, если к тому придет.

Последние слова его удивили меня, и я не совсем понимал их.

– И при прежнем правительстве, когда все распоряжения шли из Неаполя, и туда же посылались важные дела на утверждение, граждане были недовольны. Им и это казалось слишком далеко, да оно так и было. В Неаполе мало знали Палермо, и мало занимались им; этим пользовались, и мы знали не короля, а королевских воров, которые, прикрываясь законами, делали что хотели, и от них негде было искать защиты. А ведь в Турине нас, пожалуй, и еще меньше знают, нежели в Неаполе. Законы, положим, будут лучше, и соблюдаться будут строже, да ведь потребности наши не могут удовлетвориться тем...

– *Arrigo! Arrigo!* – послышался женский голос, – куда ты запропастился? – и заспанная женская голова просунулась в полуотворенную дверь.

Бедный *padre Cucurullo* покраснелся до ушей, и сконфуженный, выбежал из комнаты, не кончив тирады, не пожелав мне спокойной ночи.

* * *

Улица Толедо, лучшая из палермских улиц, на которой свободно могут разъехаться два экипажа, более других уцелела от бомбардировки. Во всех окнах развевались трехцветные знамена. В магазинах выставлены были красные рубашки и всякие военные принадлежности. Кофейни были битком набиты гарибальдийцами. Народ толпился с шумом и песнями. Особенно поражал недостаток в женщинах. Прошло, правда, несколько старух, или вообще очень некрасивых. Сколько я мог заметить, тип сицилианский вовсе не таков, каким я себе воображал его. В нем очевидна смесь африканца с норманном: выдавшиеся скулы, губы и нос готтентота, а волосы часто попадают светлые с рыжим оттен-

ком, как у шлиссельбургских чухонцев. Зато две или три, встреченные мною возле церкви красавицы, показались мне античными богинями, сошедшими со своих мраморных пьедесталов. Впрочем, по наряду их легко было угадать, что они не Минервы и не Психеи.

Ближе к морю, следы разрушения гораздо явственнее. Мало домов уцелело. Между грудами валявшихся по улицам камней, белели головы разных Венер и Геркулесов, которых изувеченные мраморные тела красовались среди зелени садов, также мало пощаженных.

Осматривать город, или, что интереснее, загородные виллы и остатки древностей, нельзя было, так как с часу на час ожидалось приказание отправляться в поход. Приказание не являлось, время тянулось бесконечно длинно. Мною стал не на шутку овладевать сон, потому что часть ночи не спал я по милости моего хозяина, а остальную – по милости некоторых насекомых, терзавших меня, словно сбирры или полициотти[52]. Желая наверстать потерянную ночь, я отправился искать приюта по гостиницам. Все были битком набиты. Наконец в *La Trinacria*[53] оказалась

свободная комнатка в верхнем этаже; согласившись заплатить пять франков за ночь, я отправился в казарму забрать небольшое количество оставшихся у меня вещей. Застаю, бьют сбор, солдаты строятся на дворе.

– Вас ищут, – сказал мне кто-то.

Прихожу – распоряжение отправляться в эту же ночь. Часа два прошло в приготовлениях к отъезду. Совершенно повечерело. Наконец с барабанным боем мы отправились к морю. На дороге встретили нас с контрордером[54]: пароход, дескать, не готов и отъезд отложен до завтра. Я тотчас отправился утилизировать остававшееся время.

На заре я проснулся. Иду в казарму: всё готово, и отправляются на военный пароход *Vittoria*. Куда мы едем, никто не знает. На пароходе толпа; негде ни стать, ни сесть. В полдень снялись с якоря и отправились по направлению к Сапри (на северо-западной части Калабрийского берега). Приходит обеденный час; пароходные офицеры садятся за стол и обедают. Нам приходится смотреть на них и казнить.

Пропитавшись целые сутки виноградом, к

4-м часам следующего дня, мы остановились в порте Сапри. Подходили очень осторожно, ожидая выстрелов из цитадели; однако ничего. Подошли ближе; тоже ничего. С берега не видно и признаков жизни. Подождав с полчаса, решили отправить шлюпку с охотниками разведать место. Съехало человек двадцать с заряженными ружьями. Я зарядил револьвер и отправился с ними. Высадились на берег, не встретив ни души. В самом городке всё пусто. Насилу, около остерии, нашли несколько человек с ружьями и в красных фуражках. Они провели нас к плац-коменданту. Там сказали нам, что бурбонские войска несколько дней тому назад пошли в Салерно, что первая часть нашей экспедиции отправилась по их следам, и что нам предстоит немедленно отправляться тоже в Салерно. Затем выкинули итальянский флаг над цитаделью. Солдаты отправились на фуражировку, поживились чем могли, и мы возвратились на пароход. Через четверть часа мы уже обогнули мыс и летели в Салерно...

В каюте раненый генуэзец из карабинеров Биксио[55] рассказывал подробности дела

при Реджо[56]. Спешившиеся гвиды ночью прошли через три неприятельские аванпосты без выстрела, саблями снимая часовых, прежде нежели те успевали подать сигнал. Когда наконец четвертый выстрелил, неаполитанцы не успели еще хорошенько проснуться, как лагерь их был полон гарибальдийцами. Слегка отстреливаясь, они бросились бежать и были встречены огнем своих же батарей. Гарибальдийцы, прикрытые ими же против крепости, вошли в город к рассвету, потеряв очень не много. Под Биксио ранена лошадь; падая, он ушиб себе левую руку и повредил старую рану. К утру у него открылась лихорадка, и он должен был оставить армию.

Едва занялся день, большой английский пароход, шедший к нам навстречу, дал нам знать, чтобы мы остановились. Когда пароходы сблизились, англичанин поднял итальянский флаг: «*Viva l'Italia*», закричали оттуда с сильным британским выговором: «*Il Borbone ha sgombrato Napoli, vi si aspetta Garibaldi!*» (Бурбоны очистили Неаполь, там ждут Гарибальди). С нашего парохода отвечали неисто-

выми *viva*. Это неожиданное известие сильно всех взволновало.

Около полудня повстречали мы другой пароход под итальянским флагом; он, опросив нас, передал нам приказание отправляться прямо в Неаполь.

Между солдатами произошло еще более радостное волнение. Стали осматривать и заряжать ружья, которые на этот раз оказались совершенно лишними.

Едва мы вошли в порт, трехцветное знамя на *Castel dell'Uovo* и *Sant'Elmo*[57] изумило и обрадовало всех.

Барки со всех сторон окружили нас. *Viva Galubarda! Viva la Talia vuna!*[58] – кричали оттуда, размахивая трехцветными платками.

Это было 7-го сентября. Утром того же дня, Гарибальди один приехал в Неаполь, безоружный, и был встречен неистовыми изъявлениями восторга[59].

Когда пароход вошел на рейд и бросил якорь, солдаты полезли на мачты. С близ стоявших пароходов и барок бросали цветы, неистовые *viva!* оглашали воздух. Все повторяли одно имя: *Гарибальди!*

III. Неаполь

Каждый город, более или менее, непременно имеет свою особенную личность, которая гораздо резче бросается вам в глаза, при первом знакомстве с ним, нежели потом, когда вы уже обживетесь и свыкнетесь. Но Неаполь своеобразностью и характерностью, чуть ли не более всех, не только европейских, а даже азиатских городов, поражает в первый раз иностранца. На меня, по крайней мере, он произвел необыкновенное впечатление, когда я вышел на берег среди оживленной и разнообразной толпы, приветствовавшей нас самыми оригинальными и часто карикатурными выражениями восторга. Потом я короче познакомился с этим городом, освоился с этим новым для меня бытом, и теперь решительно не могу сказать, что в нем особенно поразило меня; но тогда я ясно почувствовал, что попал в совершенно новую для меня сферу. Я невольно припомнил все виденные мною рисунки помпейских фресок и мозаик и, видя тех же самых сатиров и фавнов, но либо в мундирах национальных гвардейцев,

либо в щегольской одежде европейских джентльменов, обращавшихся ко мне с бешеными и непонятными жестами, признаюсь, я вообразил, что попал в какой-нибудь музей, где неведомою силой оживились все эти, так часто поражавшие меня памятники иной цивилизации, иного мира. «*Magna Graecia*» [60] – заметил мне мой приятель, пизанский студент, в чине подпоручика, бежавший возле проходившей меня стрелковой роты. У дверей коменданта встретил меня экс-бурбонский солдат с желтыми бакенбардами и усами, вероятно немецкого происхождения. Он молча отсалютовал ружьем... На дворе опять толпа одушевленно размахивала руками, и громогласные *viva* раздались в воздухе.

Во всем городе не видно было следов никаких работ, хотя все мастерские и магазины были отперты: всё народонаселение толпилось на улицах. Неаполитанцы рождены для праздников и демонстраций, и им давно не представлялось столь удобного случая к проявлению их природных склонностей.

Походная жизнь приучает человека к беспечности, к недуманию ни о прошедшем, ни

о будущем; она вообще пошлит человека и во многом делает его похожим на ребенка. Совершенная неизвестность дальнейшей нашей участи не давала нам составить себе какое-либо определенное понятие и о настоящем. Мы несколько дней пробыли в Неаполе, и совершенно безо всякого дела. Утром нужно было являться к рапорту в казарму Гранили, где стояли два батальона, образованные из остатков бригады Кастель-Пульчи, и целый день был совершенно в нашем распоряжении. Но так как с часу на час ожидалось приказание отправиться и еще неизвестно куда, – во всяком случае, однако, на тяжелые труды и лишения, – то мы и пользовались днем, то есть проводили его самым бесплодным образом. Мало-помалу собирались новые войска. Первый вслед за нами пришел батальон Маленкини[61], сильно пострадавший в деле под Милаццо. Беспорядок был общий; всем прибывшим отрядам нужно было перестроиться.

Гарибальди поселился в *Palazzo d'Angri* на [виа] Толедо, и в первые дни почти не выходил оттуда. Квартира его состояла из одной

комнаты с балконом, с которого он иногда говорил с народом, постоянно толпившимся на улице вокруг дома. Рядом с комнатой диктатора была небольшая круглая комната, бывший будуар хозяйки дома; здесь Гарибальди давал свои аудиенции. Некоторые приближенные к нему офицеры, и в числе прочих полковник Миссори[62], командовавший гвидами и формировавший в это время уланский эскадрон, жили в том же доме. В бывшей бальной зале накрывался большой стол, приборов на пять-десять, для генералов и офицеров штаба, и Гарибальди редко обедал с ними. Из известнейших сподвижников Гарибальди при нем были: Сиртори[63], начальник его штаба, Козенц[64], командовавший 16-й дивизией, впоследствии военный министр, и Мильбиц[65], герой 1848 года, под начальством которого Гарибальди в Риме успел приобрести себе такое громкое имя. Тюрр[66] и Биксио, страдавшие от недавно полученных ими ран, явились позже. Как только доставало у диктатора время на все разносторонние занятия, которых требовали от него обстоятельства! В одно и то же время он со-

ставлял новое министерство и организовывал свою маленькую армию; многие его декреты, с восторгом принятые народом, касались весьма различных административных отраслей.

Между тем жизнь наша текла невозмутимым путем три или четыре дня; время проходило между кофейными и театрами. Новые войска прибывали, и в самом Неаполе формировались батальоны горцев Везувия[67] и морской пехоты. Замечательно, что при этом громадном стечении волонтеров всех сословий, всех наций, ни разу не был нарушен порядок, ни разу не дано жителям повода жаловаться на нарушение их прав. Прибавьте к этому, что бóльшая часть вновь прибывших не были размещены по полкам, многие даже вовсе не внесены ни в какие списки, значит, не имели над собою никакого начальства; нигде ни жандарма, ни плац-офицера, никакого признака полиции.

Это было время энтузиазма, искреннего увлечения. Лица всех неаполитанцев, даже пошлые лица лавочников, так редко что-нибудь выражающие, дышали чем-то празднич-

ным; каждый лаццарон[68] смотрел триумфатором. Дела Гарибальди в Сицилии и Калабриях[69] имели слишком партизанский характер, а потому из иностранцев только люди, горячо преданные идее итальянского героя, решались разделять с ним трудности его предприятия и торжества его побед. Со вступлением в Неаполь, всё приняло другой характер, и молодые люди, по преимуществу военные, из всех стран спешили туда только из-за чести сражаться под начальством героя, добиться славного крещения кровью под народным знаменем возрождающейся страны. Многие являлись в своих мундирах. Тут были и зуавы, и венгерские гусары, солдаты и офицеры англо-индийской армии. Между последними особенно отличался знаменитый еще прежде майор Льюсон. Старший сын богатого шотландского семейства, он еще юношей отказался от права первородства и отправился в Индию, где хладнокровною храбростью и ухарским наездничеством возбуждал удивление своих соотечественников, которых не скоро чем удивишь. Наконец, уступая требованиям семейства, он оставил военное попри-

ще и отправился на родину. На беду, пароход, на котором он ехал, остановился в Алжире, а там, в это время, известный Жерар[70] собирал экспедицию для львиной охоты. Льюсон не выдержал и отправился с ним. Оскорбленное семейство оставило безо всяких средств блудного сына. Он занялся корреспонденциями для английских журналов, и в нем открылся такой запас юмора и беллетристического таланта, что журналы наперерыв стали друг у друга оспаривать остроумного корреспондента, и наш майор, чуждый предубеждений своего круга, отлично зажил собственными трудом. Я бы никогда не кончил, если бы стал перечислять всех более или менее известных людей, служивших часто рядовыми в волонтерах Гарибальди. Читатели, конечно, уже знают из журналов очень многих из них по именам. Французская рота, организованная покойным де Флоттом[71], вся подряд состояла из личностей, имевших весьма мало других качеств, кроме общей всем французам способности хорошо драться.

Я уже сказал вам, что Гарибальди имел намерение правильно организовать свою

небольшую армию, которая, за исключением личной храбрости и искренней преданности своим целям, чувствовала недостаток во всем решительно. Артиллерия страдала особенно. В арсеналах Неаполя найдено было несколько пушек; но бóльшая часть их были брошены за негодностью; всю же лучшую артиллерию король Франческо[72] еще заранее отправил в Гаэту и Капую. Кроме материала, терпелся еще сильный недостаток в офицерах и прислужниках артиллерийских. Недостаток этот сильно беспокоил диктатора. Между тем обстоятельства принимали всё более и более грозный характер, и пришлось, наконец, не только не дав армии никакого правильного устройства, но даже не подождав, пока соберется вся численная масса волонтеров, отправить ее против врага почти в десять раз сильнейшего.

Об ее составе позвольте вам сказать здесь два-три слова. Номинально у нас было в это время четыре дивизии: 16-я под начальством Козенца, 17-я – Биксио, 18-я – Тюрра и 19-я – Авеццана[73]. Нечего и говорить, что они только носили название дивизий, а далеко не

имели численного состава их. Дивизия Биксио была составлена большею частью из волонтеров первой экспедиции. Ядро ее, лучшую часть, составляли генуэзские карабинеры, любимое войско диктатора. Затем батальон Менотти[74], сына Гарибальди, в состав которого входила рота французских зуавов. Затем не помню сколько-то стрелковых рот и эскадрон гвидов. Дивизия Тюрра состояла из английского и пешего венгерского батальонов, из бригады Кастель-Пульчи, немецкой роты и эскадрона венгерских гусар. Вторая экспедиция составляла дивизию Козенца, которой командовал генерал Мильбиц, так как Козенц был назначен военным министром. Дивизия же Авеццана не имела ни одного, сколько-нибудь правильно организованного батальона. Около 15-го сентября, войска гарибальдийские получили приказание выйти из Неаполя и занять ближайšie к неприятелю позиции, Мадалони, Санта-Марии Капуанской и Сант-Анджело, вдоль Вольтурно. Тюрр, получив общее начальство, имел главную квартиру в Казерте. Неприятель свои аванпосты растянул вдоль другого берега Вольтурно,

а корпус из 18–20 тысяч человек расположил лагерь близ Капуи.

Гарибальди оставался в Неаполе. Несколько дней прошли в незначительных аванпостных перестрелках, пока наконец, 19 сентября, генерал Тюрр не решился начать наступательный образ действий. С рассветом, он атаковал Каяццо, место переправы через Вольтурно, и до полудня овладел им. Тогда оставив там около 600 человек, он отретировался к Сант-Анджело. Того же дня бурбонцы напали на Каяццо, и перерезав почти весь небольшой отряд, занимавший его, овладели им и стали угрожать нашим позициям. Тюрр был отозван в Неаполь. Гарибальди вознамерился действовать решительно, вследствие чего приступал к более правильному размещению войск и организации двух действующих линий.

Я между тем получил приказание состоять при главном штабе 1-й из этих линий, и перед отправлением на аванпосты должен был переговорить с полковником Миссори. Я уже сказал вам, что он жил в *Palazzo d'Angri* вместе с диктатором, которому при Милаццо он

спас жизнь и с которым был в очень интимных отношениях. Было около 4-х часов пополудни; мне сказали, что полковник поехал в казарму, где стоял формируемый им эскадрон улан, но что он вероятно скоро будет к обеду, и чтобы я подождал его в приемной. В маленькой круглой комнате, омеблированной как дамский будуар и служившей диктатору за приемную, сидело несколько человек офицеров в красных рубахах, куря и весело разговаривая друг с другом. Приземистый плечистый полковник, испанец родом, рассказывал какую-то предлинную историю на испанском языке. Слушатели довольно дурно понимали его и часто прерывали его замечаниями на итальянском, которых он в свою очередь не понимал вовсе; это очень смешило публику и в особенности белокурого курчавого юношу в мундире поручика пьемонтских берсальеров. Пригласив меня сесть, они продолжали веселую беседу. У двери налево сидел национальный гвардеец со штыком, а в темном углу комнаты я едва мог разглядеть седого старика, в черном фраке, с трехцветным шарфом через плечо и с весьма живописною наруж-

ностью. По стенам висели акварельные портреты дам и детей, в костюмах 1812 года. Я вынул маленький альбом, который постоянно носил в кармане, и бесцеремонно принялся набрасывать всю виденную мною картину. Это обратило внимание испанца; он попросил посмотреть; за ним подошли другие. Я заговорил с ним по-испански, и он принял меня за португальца. Я разуверил его насчет своей национальности, и вся публика принялась смотреть на меня с особенным любопытством. В последнее время я так успел привыкнуть к этому любопытству, что оно вовсе уже не стесняло меня. Юноша пьемонтец счел долгом заметить, что он не знает немецкого языка, и что его сильно удивляет, как это чехи и поляки говорят таким языком, что даже и немцы их не понимают. В это время дверь, у которой сидел часовой, отворилась, и из нее вышел старичок небольшого роста, но бодрый и коренастый, с длинными волосами и бородою, в венгерской шапочке, что всё вместе делает его очень похожим на Гарибальди, которого он соотечественник и секретарь. «Господа, – сказал он, – генерал обедать не бу-

дет, а просит вас прислать ему тарелку супу и еще чего-нибудь». Затем он пригласил старика с трехцветным шарфом войти в комнату диктатора, а шумная толпа офицеров, томимая аппетитом, решила идти в столовую, не дожидаясь Миссори. «Семеро, дескать, одного не ждут».

IV. Санта-Мария

Чтобы вполне понять новое распределение гарибальдийских войск против Капуи, необходима небольшая топографическая заметка о месте действия. Но предполагая, что из журнальных известий читатели составили себе общее о ней понятие, я не буду очень распространяться об этом. Между Неаполем и Капуей идет железная дорога, но не по прямому направлению. Сперва от Неаполя она направлена к северо-востоку до местечка Маддалони, оттуда на запад до Казерты, и наконец оттуда по прямой линии на север и очень мало на восток, в Капую, через Санта-Марию. Между Маддалони и Санта-Марией, по берегу Вольтурно, возвышаются вершины Сант-Анджело и Сан-Микеле, совершенно в виду Ка-

пуи, и господствуют над нею. Кроме того, из Санта-Марии в Неаполь идет шоссе, пересекающее железную дорогу через местечко Аверса. Таким образом, Казерта, с запада, севера и востока, окружена полукруглой линией, идущей от Аверсы, через Санта-Марию, Сант-Анджело и Сан-Микеле до Маддалони. Эта линия была разделена в военном отношении на две части: первой, большей, от Аверсы до Сант-Анджело командовал генерал Мильбиц, второй – Биксио. Всё пространство, ограниченное этой линией и далее на север, представляет сплошную равнину, доходящую к западу до самого моря. Равнина эта хорошо обработана, и незапаханные места покрыты деревьями и постройками. Санта-Мария, небольшой городок, имеет несколько тысяч жителей, которых бóльшая часть впрочем разбежалась при нашем приближении: такой страх и недоверие успели внушить им неаполитанские войска, что от одной мысли военного постоя они бросали жилища и имущества. Тут-то находилась главная квартира командующего первой линией.

Я приехал с вечерним поездом, и прямо от-

правился к генералу. Он обедал, но не заставил себя дожидаться, а велел проводить меня в столовую. В большой зале, за длинным столом, сидело человек до сорока офицеров. Мильбиц в очках и фуражке заседал на президентском месте. Возле него сидела пожилая полная женщина, с огромными черными глазами и орлиным носом. Все смеялись, громко разговаривали между собою, и по-военному любезничали с толстыми служанками, разносившими кушанья. На столе стояло около дюжины свеч в чрезвычайно разнокалиберных подсвечниках. Я приготовлялся церемонно представиться генералу, но когда дежурный офицер назвал меня, он оторвался от тарелки, в которую был очень углублен и, обгрызывая куриное крыло, которым успел очень удачно налакировать себе нос и седые усы, пробормотал, что я назначен состоять при его штабе и вероятно буду состоять при нем. Затем он сказал мне, что если я еще не обедал, то чтобы садился за его стол, и что это приглашение делается раз и навсегда; затем он с пущим прилежанием занялся тарелкой и стал наверстывать потерянное время. Несколько

знакомых мне офицеров стали подзывать меня к себе, угощать вином и расспрашивать о Неаполе, каждый о том, что его больше интересовало. Обед кончился, и все разбрелись по внутренним комнатам.

Квартира генерала состояла из длинной анфилады комнат, начинавшейся залой и тянувшейся до столовой. Зала, и за ней нечто вроде гостиной, были омеблированы с некоторым комфортом; было даже фортепиано. Но в других комнатах, кроме железных кроватей или просто тюфяков, не было решительно ничего. Возле столовой, в небольшой комнате, стояли два некрашенных стола; на них кипы бумаг и письменные принадлежности. Это была канцелярия генерала, куда он отправил меня после обеда для исполнения некоторых формальностей. За одним из столов сидел молодой человек очень красивой наружности, в красной рубашке, нараспашку и без пояса; он оказался чем-то вроде делопроизводителя. «А, вы только что из Неаполя, – сказал он очень любезно, – жаль, что я не знал прежде, а то бы я попросил вас купить мне револьвер. Представьте себе, здесь раздавали револьверы

всем боевым офицерам, и для них не достало. Я было потребовал себе, так мне сказали, что мне его не нужно, так как я *ufficiale di repna* (то есть вроде канцелярского чиновника), и в дело не хожу. Оно, конечно, правда, но согласитесь, я сижу здесь часто совершенно один, а на аванпостах закатывают такую перестрелку, что невольно становится страшно. У меня же, кроме дрянной сабленки, которой я и владеть не умею, никакого оружия не имеется».

В это время вошел Мильбиц. «Вам здесь будет работа, – сказал он, увидев меня, – нам нужно укрепиться, а офицеров, знакомых с этим делом совершенно нет». – «К сожалению, и я вовсе не практик по части полевой фортификации». – «Вот и еще беда! А я на вас надеялся. Впрочем, – прибавил он, – тут нужен здравый смысл, да кое-какие познания; дело не Бог знает какое головоломное. Я еду на аванпосты, поезжайте со мной осмотреть позиции. Впрочем, теперь ночь, и вы не много увидите; лучше уж завтра на рассвете будьте готовы». Я заметил, что не худо бы посмотреть предварительно топографические карты и планы, а со случайностями можно будет

ознакомиться посредством ночных разъездов, так как местность довольно открытая и неприятель слишком близок. «Карты вы найдете в моей комнате на столе, только общие, а специального плана швейцарец-инженер и до сих пор не сделал». В это время доложили, что коляска готова, и Мильбиц вышел, сказав, что через час он вернется, и чтобы к тому времени я был тут, а пока посоветовал мне идти позаботиться о квартире, «которой, впрочем, не часто придется вам пользоваться», заметил он мне, выходя.

Воспользовавшись свободною минутой, я с толпой офицеров отправился в кофейню *del Molo*, где солдаты и офицеры в живописных группах, каждый сообразно своим наклонностям, либо опорожняли бутылки марсалы и рому, либо прохлаждались мороженым. Здесь было собрание всевозможных национальностей, даже какой-то негр в красной рубашке с капральскою нашивкой на рукаве. Венгерцы в узких штанах и в чекменях с брандебурами [75] молча сидели вокруг стола, на котором красовалась целая батарея бутылок, красноречиво объяснявшая причину их молчания.

Калабрийцы в своих высоких шляпах, увешанных шнурками и лентами, старались потопить в коньяке тоску по отечественному *Centerbe*[76]. Французы шумно разговаривали вокруг чаши с пылавшим пуншем. Общий говор сливался в какой-то одуряющий и непонятный шум.

От одной из групп отделился пожилой зуав в живописном костюме и феске и со стаканом пунша подошел ко мне. Я с ним встретился в Неаполе, он только что приехал определиться, и теперь уже левая рука его была подвязана черным платком. При нем, в качестве адъютанта что ли, состоял какой-то мальчик лет пятнадцати с прекрасным лицом, еще не успевшим загореть, и с нежными почти женскими руками. Зуав непременно требовал, чтоб я выпил за его скорейшее выздоровление; от личностей этого рода отделяться, не исполнив их просьбы, невозможно, и я, несмотря на жар, должен был осушить стакан теплого пуншу. Он между тем рекомендовал меня своему спутнику в следующих выражениях: «Видишь вот поручик...МММ...» – он не мог вспомнить моего име-

ни – «ну всё равно имя у него мудреное, а у меня память плохая, потому что я в молодости дурно учился. Ты с меня примера не бери, а когда война кончится, непременно научись какой-нибудь науке. Это хорошо. Вот поручик много разных наук знает, и это у него видно по лицу. Он иностранец, как и мы, и пришел драться за Италию, потому что всякому хорошему человеку приятно драться за доброе дело. А это вот», – прибавил он, обратясь ко мне: «*c'est mon moutard*[77]. Он добрый малый, и я взялся образовать его, *le former*[78], из него может прок быть, но хлопот мне с ним очень много», – добавил он тоном заботливой няньки.

В другом углу, голубоглазый и белокурый юноша, с сильным немецким выговором, объяснял кучке мало слушающих его итальянцев, что не все немцы австрийцы, и рассказывал им с большим одушевлением о *Nationalverein*'ах[79]. За одним из столиков сидел среди офицеров поп с черною бородой в расстегнутом подряснике, из-под которого виднелась красная рубаха, и что-то очень тихо им рассказывал. За тем же столом сидел маленький

гарибальдиец в надвинутой на глаза круглой шляпе, в котором очень не трудно было узнать женщину... Когда я вышел на улицу, луна была в полном блеске; вокруг не видно было ни души. Издали слышались порою громкие песни, и от времени до времени раздавались глухие выстрелы, и огненная полоса мелькала по ясному небу.

В зале у генерала сидели празднично штатные офицеры. С аванпостов являлись с рапортами. Седой полковник играл в шахматы с каким-то смуглым господином в клеенчатом непомерно высоком кепи. Слабонервный поручик, сожалеющий о том, что не мог достать револьвера, хлопотал и суетился. Не доставало офицера для ночного разъезда и, к величайшему моему неудовольствию, им вздумалось пополнить мной этот недостаток. Мне не хотелось прямо показать, что выбор этот вовсе не был мне по вкусу, и я вздумал как-нибудь отделаться от него под благовидным предлогом. Я было заговорил о том, что у меня нет лошади, но мне сейчас же предложили на выбор чуть ли не всю штабную конюшню. Что я ни выдумывал, всюду встречал отпор,

так как каждый опасался, что если не сладится дело со мною, выбор падет на него. Делать было нечего; скрепя сердце я отправился. Мне попался какой-то непомерно высокий конь, которого рассмотреть хорошенько я не мог в темноте. Гусары по два в ряд стояли на дворе главной квартиры. Капитан Б. выехал на маленькой вертлявой лошаденке, и мы двинулись. Улицы были совершенно пусты. Удары копыт звонко отдавались в ушах. Я был в очень дурном расположении духа, а лошадь моя как назло никак не соглашалась идти спокойным шагом. Едва мы выехали из города, к нам присоединился пеший патруль, и мы благополучно отправились на дальнейшие подвиги. Мы шли по шоссе; по сторонам, темными пятнами, деревья застилали всю местность. Проехав минут около десяти, капитан разослал несколько человек по разным направлениям и, закинув саблю за заднюю луку, чтобы не брэнчала, сам осторожно съехал с шоссе и скрылся за деревьями. Построив оставшихся со мною людей в боевой порядок в две линии, что нелегко было сделать с импровизированными кавалеристами, я при-

мкнул к правому флангу первой шеренги и стал пристально всматриваться вдаль и внимательно прислушиваться.

Кругом всё было тихо, спокойно, лист не шелохнется. Месяц светил ясно и чисто. Изредка фыркание лошади или удар подковы о шоссе нарушали это полное молчание ночи. Мало-помалу я предался сладкой задумчивости, от которой недалеко было и до дремоты. Долго ли я находился в этом состоянии, не знаю. Вдруг выстрелы раздались невдалеке, – а мне так показалось, что над самым ухом, – и конский галоп послышался в стороне. Я вдруг проснулся и не зная, что предстояло мне делать, сказал по-итальянски какую-то пошлую ободрительную фразу, которой венгерцы, вероятно, и не поняли.

В это время несколько всадников показались перед нами на дороге. Я взял с собою унтер-офицера и поехал к ним навстречу. Оказался наш же капитан. «Куда забрались, проклятые! – ворчал он. – Ну, ребята, теперь домой. Направо кругом». Мы воротились около трех часов ночи. Я отправился по темным комнатам штаб-квартиры отыскивать уголок,

где бы провести остаток ночи, но все, на чем только можно было улечься с каким-нибудь комфортом, было занято. Наконец, утомленный, я бросился на попавшееся кресло и заснул мертвецким сном.

V. Archi di Capua[80]

Город Санта-Мария расположен на том самом месте, где находилась Капуя, в которой зимовал Аннибал[81], но или сам город, или вкусы солдат с той поры изменились, только в настоящее время стоянкой там трудно изнежить какое бы то ни было войско. С тех времен уцелели еще некоторые постройки, как например, на дороге в теперешнюю Капую, шагах в полутораста от Санта-Мариин, вы увидите огромную арку в виде триумфальных ворот. Правая часть одного из сводов сверху обвалилась, но вообще постройка эта сохранилась очень хорошо.

В одной из ниш поставлена, верно еще в средние века, каменная мадонна, а в другой едва можно разобрать окончание какой-то латинской надписи. Направо от этой арки, шагах в двухстах, на небольшом возвыше-

нии, находятся развалины амфитеатра, называемого Кампана. Линия между амфитеатром и аркой, и дальше до станции железной дороги, представляла наш фас к неприятелю. На этих трех главных пунктах были расположены аванпосты, а между ними расставлено несколько пикетов. Положение это было очень невыгодно, и при этих условиях местности, не имея чем укрыться, мы вряд ли могли бы устоять против неприятеля, если б он вздумал атаковать нас.

Мне поручено было укрепить эту позицию, и притом в самом скором времени. У нас и в помине не было никаких саперных или инженерных команд. Я обратился к синдикату с требованием рабочих в таком числе, сколько можно достать с платою по 40 грано[82] (около 40 коп. сер.) в день. Часа через полтора посланный возвратился, торжественно ведя полдюжины ребятишек и нескольких чуть двигавших ноги стариков. Все они были перепуганы, словно их вели на казнь. Выбрав постарше из мальчишек, я послал их рубить колья, а остальных отправил по домам. К синдикату я обратился со вторичным требованием, и

он опять прислал партию вроде первой, и это повторялось несколько раз. Наконец колья нарублены, шнуры натянуты, но нет ни лопаты, ни землекопов. Пришлось самому отправиться в город и принять решительную меру.

Взвод национальной гвардии был послан на *Piazza del Mercato*[83] с поручением силой забирать всех годных на фортификационные работы, если сами не захотят идти за обещанную плату, которая вдвое превышала обыкновенную поденную цену. Эта мера, как вообще крутые и решительные меры в подобных случаях, имела большой успех. Я оставил синдикку небольшую записку, в которой изложил свои требования, с приглашением исполнить их в течение шести часов, то есть до заката солнечного, так как время уже перешло за полдень.

Правда, требования эти могли быть довольно удобно исполнены в полчаса времени. Дело состояло в присылке съестных припасов, то есть сыра, вина и хлеба на всё количество рабочих, и потом в закупке некоторых землекопных и других орудий. В случае замедления или неточного выполнения, я угро-

жал подачей рапорта командующему линией, чего особенно боятся все мирные власти в военное время. Возвратившись к работам, я нашел целую толпу, смиренно стоявшую под прикрытием национальной гвардии. Между ними было несколько джентльменов и дам, пришедших добровольно принести свою лепту труда на пользу отечества. Выбрав годных к работе, которых оказалось человек до пятидесяти, я распустил остальных, а двух священников, нескольких маменькиных сынков и двух или трех женщин, непременно желавших остаться, пригласил вязать фашины[84].

Между тем, со стороны дебаркадера торжественно подвигалась к нам какая-то колонна. Предводитель ее подошел ко мне. Это был высокий плотный мужчина, уже пожилой; его густые волосы и темная каштановая борода искрились сединою. Огромный орлиный нос и бронзовый цвет лица гармонировали со всей его фигурой, и составляли очень красивую, хотя неправильную и грубую физиономию. Он начал очень мудрую и длинную речь, начинавшуюся словами: «*Illustrissimo signor ufficiale*»[85]. По произношению, в нем

легко было узнать горного жителя; он оказался абруццем[86]. Из речи его явствовало, что он подрядчик, ведущий в Неаполе постройки по части путей сообщения, и содержит огромное число рабочих. Утром того же дня, случившись в Санта-Марии, он узнал о нашем затруднительном положении; сообразив при этом как он выражался, всюду известную неспособность санмаритан (жителей Санта-Марии) к земляным работам, он с первым поездом отправился в Неаполь, выбрал из числа своих рабочих десятка четыре добрых абруццев, «хороших патриотов», широкоплечих парней, и теперь они в моем распоряжении. «Вы сделаете ваши ученые соображения, укажете нам где и что нужно делать, а в том, что ваши распоряжения исполнятся со всей точностью и быстротою, поручкой вам я, Доменико Флокко Абруццез».

Сколько однако ни предавался я ученым соображениям, никак не мог придумать ничего лучше, как провести длинную траншею от амфитеатра вплоть до арки, и под нею устроить батарею, а ряды домов и заборы, идущие вплоть до железной дороги, где ин-

женеры бельгийцы ставили другую батарею, ретраншировать[87]. Таким образом мы бы представляли врагу в самом центре довольно сильную позицию. Небольшой домик «*Cascina della Paglia*»[88], шагах в двухстах от арки, обстреливал дорогу и служил нам передовым пунктом. Наконец, за нами были городские постройки, которыми можно было воспользоваться, если бы нас выбили из первой позиции. План этот я сообщил Мильбицу, и он его одобрил. Тем не менее выполнение его было весьма затруднительно при наших ограниченных средствах. Я велел рубить деревья, которыми была усеяна местность. Молодые гибкие ветви шли на фашины, а стволы с сучками валялись по шнуру и давали скелет парапета. Едва спала невыносимая жара, рабочим принесли провизию. Я сибаритски расположился на плаще в тени, и принялся за свой тощий обед, состоявший из винограда с хлебом, запивая абсентом. Ко мне подошел Доменико Флокко; я предложил ему часть своей трапезы. «Как? Так это-то ваш обед? Нет постойте. Дон Карло!» – закричал он словно в рупор. Явился какой-то старикаш-

ка с засученными рукавами и что-то жуя. Он стал, как солдат, во фронт перед моим собеседником и правую руку поднял ко лбу; не знаю, закрывался ли он от солнца, или салютовал своего командира. Тот отдал ему какое-то отрывочное приказание, и дон Карло сделал налево кругом и ушел прихрамывая.

Через несколько минут он воротился с круглой деревянной, огромных размеров, складной бутылью вина и еще какими-то обеденными принадлежностями. Доменико торжественно принялся их раскладывать. Вообще он ничего не делал без величия и торжественности.

Работы продолжались до ночи. Я отправился к рапорту в штаб-квартиру. Там собрались со всех отдельных позиций. Нового ничего не было. Бурбонцы бомбардировали наши работы на Сант-Анджело, но не причиняли им никакого существенного вреда. Была чудная ночь, хотя и в конце сентября, но теплая и сухая, чему я был очень рад, так как мне пришлось провести ее под открытым небом.

Наутро я встал с рассветом. У абруццев, действительно, дело горело в руках. Остов

траншеи был весь положен, и местами уже рыли вал. Городские работники еще спали. Я разбудил их, и мы принялись закладывать батарею. Во дворе одного из самых близких к нам домов, солдаты заметили большую кучу хвороста, так как соседние деревья были все срублены, то нам приходилось идти за фашинами довольно далеко; кроме того, так как взлезая на деревья, люди подвергались бы неприятельским выстрелам, то приходилось бы валить целые березы и акации. Я отправил сержанта, чтоб он сделался как-нибудь с хозяином, чтобы тот уступил нам этот хворост за приличное вознаграждение.

Немного погодя, вдруг целое семейство, со старухами и детьми, горько рыдая и вопя, бросается мне в ноги. Что за история! Оказывается, всё тот же несчастный хворост виною. Напрасно уверял я их, что им будет всё заплачено и чтоб они сами назначили цену. Собралась толпа окрестных жителей; я попросил некоторых из них оценить этот дорогой предмет, и отдал назначенную сумму старухе, которая больше всех кричала и бесновалась. Но она и тут не унялась. Работники громко захо-

тали, ругались и бросали в нее мелкими камнями, так что для ее же собственной безопасности я велел отвести ее домой и приставить к двери часового. Старуху почти силою потащили, и она всё на кого-то жаловалась и плакала на свою вдовью участь.

Едва окончилась эта скучная история, из города приехали две извозчичьи коляски, остановились невдалеке, и из них вышло несколько человек в красных рубашках. «Диктатор! *Il generale dittatore!*» – раздалось повсюду, и не было никакой возможности удержать работников на местах. Гарибальди шел впереди группы офицеров. Он был в своем обыкновенном костюме. Полинялая красная рубаха, узкие серые панталоны растробом к низу и худые нечищенные сапоги. Венгерская черная шляпа была надвинута на самые брови. Видно было, что он не в духе. Голова была опущена на грудь, и брови нахмурены. Он подошел к начатым работам, взлез на парапет, посмотрел во все стороны и молча пошел дальше к амфитеатру. Работники кидали шапки вверх и восторженно кричали «*viva*!» Он, казалось, ничего не слышал.

Вдруг откуда ни возьмись, мой дон Доменико бежит вприпрыжку, застегивая сюртук. Он догнал диктатора, забежал ему вперед, стал на одно колено и поймав его правую руку, поцеловал ее с экстазом. «*Io bacio quella destra*», – сказал он торжественно, «*che portò il glorioso alloro di libertà nel mio paese*» (я целую десницу, принесшую славный лавр свободы в мое отечество). Абруццы неистово рукоплескали и кричали «*viva!*» Диктатору, кажется, было очень неловко; он скорыми шагами пошел вперед и ловко вскарабкался на крутой холм. «Диктатор очень озабочен сегодня», – сказал мне один из сопутствовавших ему офицеров и поспешил вдогонку за ним.

– Досадно, что я не взял с собою своего сынишку. Кто знает, приведется ли ему увидеть этого удивительного человека, – сказал дон Доменико, утирая рукавом свои глаза.

VI. Баррикады

Едва садилось солнце, я брал с собою по нескольку человек абруццев с лопатами и топорами, и мы отправлялись в сторону от шоссе, разыскивать все бывшие там проселочные дороги, и те из них, по которым можно было бы провезти пушки или пройти конным отрядам, мы перерезывали рвами, ставили там рогатки и всякого рода баррикады. Часто нам приходилось забираться очень близко к неприятельским аванпостам. Иногда мы даже слышали разговоры в бурбонском лагере, и разговоры почти всегда происходили на немецком языке. Поросшая густым кустарником местность благоприятствовала нам, а благодаря неисправности аванпостной службы в королевской войске, мы были вне всякой опасности.

Три или четыре дня кряду повторялись наши вечерние экскурсии. Мы изрезали все дороги и тропинки. Возвращаясь, я вздумал забраться несколько в чащу, в сторону от дороги. Я шел со всевозможной осторожностью, медленно ступая и держа саблю под мышкой;

работники, притаив дыхание, пробирались за мною. Вдруг раздалось несколько выстрелов, и пули прожужжали над нашими головами. Испуганные абруццы согнулись в три погибели и повертели назад, с намерением выбраться на дорогу. Они, конечно, поступили очень не расчетливо. За нами могла быть погоня, а в кустах спрятаться было несравненно легче, нежели на ровной дороге; убежать же от конной погони нечего было и надеяться. Уговаривать их и объяснять им всё это было некогда, а одному оставаться было слишком невыгодно, и в отправился вслед за ними. Она бежали так быстро, что угнаться за ними я не мог. Погони однако никакой не оказалось; но едва мы прошли, или правильнее пробежали, несколько шагов, снова раздались выстрелы, и несколько пуль впереди нас взбороздили землю почти у нас под ногами.

Очевидно, что недалеко был поставлен пикет, состоявший (насколько можно было судить по выстрелам) из пяти или шести человек. Если б их было больше, они непременно вышли бы помешать нам работать; по крайней мере, вслед за первым залпом пяти

или шести ружей, тотчас бы выстрелили остальные. Тут же между выстрелами протянулось довольно времени, употребленного, конечно, на зарядание ружей; наконец уже одно то, что первые выстрелы были взяты слишком высоко, а вторые слишком низко, давало заключать, что стреляли одни и те же.

«Сообразив всё это, я увидел, что опасности особенной не было и старался объяснить это работникам, которые при выстреле все повалились на землю. Странное это дело, подумаешь, — проговорил, вставая, несколько сконфуженный бритый детина лет тридцати с плутовской физиономией, — ведь летит она, проклятая, словно жук какой или комар, а ведь так сердце и екнет, как услышишь этот мерзкий визг».

Бурбонцы не сочли нужным беспокоить наше дальнейшее путешествие. После нескольких минут скорой ходьбы, мы выбрались наконец на большую капуанскую дорогу, шагах в двухстах от арки. Тут нашими стараниями была воздвигнута баррикада, которая служила нам самым передовым пунктом. В то время, пункт этот занимал полковник

Коррао[89] (впоследствии генерал), с батальоном сицилианцев. Коррао – тип сицилианского буржуа средней руки: фанатик религии, понимаемой им по-своему, фанатик итальянской народности и идей молодой Италии, без особенного образования, но с громадным запасом того добродушно-насмешливого здравого смысла и лени, которые составляют отличительную черту обитателей юга. От прочих своих соотечественников он отличался своей хладнокровной, сознательной храбростью, так редкой в сицилианцах.

Баррикада, о которой я говорил, была набросана наскоро из материала, какой попался под руку. Рва совсем не было и подобия. Я хотел воспользоваться оставшимся свободным временем и распорядился немедленно об окончании баррикады. Работники, довольные счастливым исходом нашего последнего предприятия, весело принялись за дело, припевая свои народные горные напевы.

Коррао сидел на барабане; возле него живописной группой расположились несколько человек офицеров и солдат его батальона и вели оживленный разговор. Я присоединился

к ним. В стороне солдаты лежали на солнце у сложенных в кучки ружей. Впереди, между деревьями, ярко виднелись белые башни и колокольни Капуи; на Сант-Анджело гремели пушки. Их сухой, отрывочный гул раздавался странным диссонансом среди местности, которая казалась созданной для сцен иного рода. Молодой медик, с черной бородкой, живописно стоял, опершись на щегольской карабин. Новая красная рубашка, с широкими складками, облегла его могучую грудь и плечи. В выговоре легко было узнать венецианца. Он с жаром рассказывал о своем побеге из Виченцы, где его принуждали вступить медиком в австрийское войско. Каждое его слово дышало пылкостью молодости. В 48 г., он был почти ребенок, но принимал деятельное участие в героической защите Виченцы против Радецкого[90]. Там, подле церкви на Монте-Берико, где битва была особенно упорна, погибли тысячи храбрых с обеих сторон. Мраморная колонна с приличною надписью поставлена на память убитых из лагеря победителей.

– *Alt! Chi va la*[91], – закричал неистовым

голосом часовой и вскинул на прицел свое ружье.

Все подбежали к нему. По дороге из Капуи пробирались две фигуры, которых вида и одежды нельзя было различить. Несколько солдат с заряженными ружьями выбежали вперед.

– *Picciotto!*[92] – флегматически заметил Коррао, – не пожалей глотки, закричи им, чтобы прямо шли сюда.

– Ну, а как они в сторону, да тягу, – возразил толстый часовой с отвисшими рукавами рубахи, что еще больше давало ему вид Пульчинеллы[93], которого и без того напоминала вся его фигура.

– А если они в сторону да тягу, – повторил полковник, – то пошли им на дорогу по золотнику свинца на брата, и увидишь, что они не далеко уйдут с этой ношей.

Шедшие приостановились; один из них упал на колени. Солдаты прицелились в них, и махали им, чтоб они шли вперед; те однако не двигались с места.

– *Gigillo!*[94] – крикнул полковник своему денщику, – возьми моего жеребца да лети во

всю прыть и приведи сюда этих двух животных. *Sarà qualche spia* (верно шпион), – прибавил он, обратясь к нам.

Денщик поспешил исполнить приказание полковника, и через минуту он уже мчался на лихом вороном жеребце, размахивая руками и ногами.

Прохожих привели. Один – худой, загорелый лет сорока, в одежде мужика; другой – мальчик лет восемнадцати, одетый прилично, по-городскому, с полным лицом, бледным от страху. Его черные волосы были сильно припомажены и щегольски причесаны, с английским пробором на затылке. Оба они дрожали от страху и судорожно повторяли: «*Viva l'Italia... Siamo tutti fratelli... Non ci fate danno* (мы все братья... не делайте нам зла).

– Зла вам никто делать не намерен, – грозно сказал им Коррао, – а вы рассказывайте, что вы тут таскаетесь? Да чур не лгать, а то добра не будет.

Мальчик приободрился первый. Он рассказал, что у него семейство в Капуе, что сам он жил в Неаполе, что несколько дней тому назад, сильно опасаясь за участь своих родных,

он решился отправиться в осаждаемый город. Через наши аванпосты он прошел благополучно, и обратился к генералу, командовавшему неприятельской передовой линией. Там ему выдали позволение отправиться в город. Но едва он явился, его схватили, начали издеваться над ним, били и потащили в каземат, грозя расстрелять его на следующий день, как изменника и шпиона. В каземате продержали его двое суток, без пищи, и наконец сегодня выпустили его оттуда, вывели за передовую линию и прогнали, говоря, что если он в другой раз попадетсЯ, то уже так дешево не отделается.

Контадин сказал, что он крестьянин одной из близких к Капуе деревень; что сын его с возами отправился в Санта-Марию, еще до занятия этих мест нашими войсками, и что с тех пор, не имея ни о нем, ни о возах никаких известий, он отправился сам на розыски; что он пробрался чащей и проселками, не встречая нигде бурбонских солдат и вблизи нашей баррикады вышел на дорогу, где и встретил теперешнего своего товарища, которого до этого он никогда не встречал и даже еще не успел

перемолвить с ним слова.

Приступили к обыску. У контадина нашли письменное дозволение пройти через бурбонскую линию теперь и обратно, кошелек с медными деньгами и образ Мадонны в оправе из фольги. Коррао собственноручно снял оправу с образка, и обшарив его весь, не нашел ни клочка бумаги и ничего компрометирующего.

«Клянись на этой Мадонне, что ты сказал чистую правду», – сказал он ему. Контадин дрожал и молчал. Его долго уговаривали, и наконец, дрожащим голосом, он объявил, что прокрался не проселками, а прошел через аванпосты, на что выхлопотал разрешение у бурбонского генерала. Он прибавил, что утаил это, боясь, что его расстреляют, но что всё остальное чистая правда, и в том он клянется Мадонной и Св. Януарием. Он прибавил еще, что в неприятельском лагере, выдавая ему позволение, вместе с тем приказывали непременно возвратиться, как только он окончит свое дело.

У мальчика найдено было несколько записных книжек и других карманных вещей,

кошелек с несколькими золотыми и в бумажнике тоже разрешение возвратиться в Капую, явно противоречившее всему им сказанному. Кроме того, нашлось несколько лоскутков бумаги, вырезанных в виде кругов и разрезанных потом на части.

– Это очень похоже на условные знаки, – сказал полковник, пристально смотря ему в глаза.

Юноша смутился и побледнел. Оправившись несколько, он сказал, что один знакомый в Капуре просил его передать это в Неаполе аптекарю, чтобы тот выслал ему лекарство, от которого у него не сохранилось рецепта, но которое заключалось в коробочке, обложенной этими лоскутками бумаги. Всё это могло быть правда, хотя очень походило на ложь. В показаниях юноши встречалось много противоречий, но эти противоречия, могшие подать повод к подозрению, ни в каком случае не дозволяли заключать о виновности.

– Ну что прикажете делать с такими господами? – обратился ко мне Коррао, – тот еще пожалуй и нет, – сказал он, указывая на кон-

тадина, – а за этого поручусь, что шпион.

– Отправьте их в Санта-Марию. Я буду сегодня в штаб-квартире и сообщу полковнику Порчелли результаты ваших допросов.

– Много их тут шатается, этой сволочи! По моему, этого молодчика взять да и расстрелять тут же; время военное. А вот Гарибальди не такого мнения и ни за что на это не решится. Ему прежде расспроси, да докажи виновность, да и потом велит в тюрьму запрятать, а они этому и рады. Вспомните, при Милаццо переодетые полициоты на нас из окон смолу и масло горячее лили; взяли их больше тридцати человек; всех бы подряд расстрелял, да и баста; так и то не велено.

– Русская императрица Екатерина II говорила, что лучше простить десять виноватых, нежели наказать одного правого.

– Я с этим не согласен. Правого, конечно, наказывать не следует, а виноватого не простил бы ни за что.

Между тем стемнело. Рабочие улеглись на отдых. Я распростился с Коррао и отправился к рапорту.

VII. Министерство

Чтоб окончить начатые фортификационные работы, не доставало баснословного количества мешков. В Санта-Марии достать их не было возможности. Я давно отнесся об этом в Неаполь, но ответ не приходил, а медлить было некогда. Когда я сообщил Мильбичу об этом печальном обстоятельстве, то он сказал мне, что ему нужно отправить офицера с депешами к военному министру, и что он для этого назначает меня, и к прежнему пакету прибавил требование немедленной выдачи четырех тысяч мешков под мою расписку.

Утром, с первым поездом, я отправился. Вагоны, без различия классов, были набиты офицерами и солдатами; даже на крышах алели гарибальдийские рубашки. Поезд шел медленно до крайности, и вместо двух с половиною часов, мы протянули часа четыре. В Неаполе при выходе со станции вышла история. Министерство, для прекращения самовольных отлучек офицеров, распорядилось, чтобы ни один гарибальдиец не был впускаем в Неаполь без письменного разрешения от

своего начальства. Приказ этот не был сообщен стоявшим на аванпосте, а между тем несколько человек из *guardia di sicurezza*[95] стояли строгими церберами у чугунной решетки и свято исполняли отданный приказ. Письменных позволений не оказалось почти ни у кого, и дело доходило чуть не до драки.

Последний поезд из Неаполя уходил в пять часов. Дела мне было много, а времени мало. Протолкаться к решетке не было физической возможности; дожидаться некогда, да и не весело. Я рассчитал, что хотя прямая дорога всегда самая короткая, но самая ли она удобная – этого геометрия не говорит, и сделав небольшое отклонение влево, вылез в окошко вокзала, отстоявшее невысоко от земли, торжественно махая перед глазами церберов подписанною Мильбицем бумагой. Многие последовали моему примеру, и толпа у решетки в одну минуту поредела значительно.

Предоставив блюстителям порядка негодовать на мой поступок, сколько он этого заслуживал, я взял первого попавшегося извозчика и отправился в министерство, помещавшееся в великолепном дворце на *Largo del Castello*

[96]. Дворец этот в шесть этажей, и в самом верхнем из них помещалось военное министерство. Вся лестница была усеяна гарибальдийцами, по большей части ранеными; они потихоньку взбирались по колоссальной лестнице; несколько старух, покашливая, ковыляли тут же. В дверях теснилась многолюдная толпа, чающая движения воды. У министра не было определенных часов для приема, а между тем самые мелочные дела непременно требовали его разрешения, и всякий, имевший в нем какую-либо надобность, должен был ожидать удобного случая изложить министру, и много раз пересчитать ступени мраморной лестницы, ведущей на шестой этаж, прежде нежели добиться цели.

Раненые в Сицилии и Калабриях, не будучи в состоянии следовать за своими отрядами, оставались до выздоровления в ближайшем к месту действия госпитале, а иногда и в частном доме, где всегда встречали радушный прием и искреннюю заботливость об их участи. Неоднократно случалось, что бедняки, пролежавшие несколько месяцев в маленькой избушке калабрийских контадинов,

отправляясь оттуда, не только не платили ничего, но даже получали денежное пособие от своих хозяев. С этим пособием они отправлялись в Неаполь, являлись к плац-коменданту и от него получали квартирный билет. Следовавшее же им жалованье они не могли получить без разрешения военного министра. Прибавьте к этому, что многие из людей, даже богатых, во время похода оставались без всяких средств, а большинство, конечно, состояло из людей живших жалованием, и вы легко поймете, как усердно должны были эти господа преследовать военного министра, который представлялся им в виде мифического существа, в которое необходимо верить, хотя оно ничем не заявляет своего бытия.

Охота эта продолжалась во всяком случае очень долго, и не всегда увенчивалась успехом. Понятно, что в это время храбрые защитники народного дела имели полное удобство умереть с голоду, если не хотели снискивать себе пропитание неблагоприятными способами. Конечно, дело не обошлось бы без этого, если бы Провидение не позаботилось о бедных гарибальдийцах. На этот раз орудием его был

некто Вебер, содержатель трактира в одном из переулков на Толедо. Этот почтенный муж говорил *ju* вместо *gi*, из чего не трудно было заключить, что рождением его свет обязан Берлину или его окрестностям. Кредиту для гарибальдийцев не было у него границ, и злые языки утверждали, что под кухонною оболочкою трактирщика Вебера скрывается дипломатический агент. Не знаю, насколько основательно было такое предположение, но во всяком случае дипломат-трактирщик мог доставить своим патронам самые полные сведения о желудках каждого из деятелей итальянского народного движения, или тех по крайней мере, которых кошельки не находились в вожделенном состоянии.

Протеснившись сквозь толпу чающих, я смело отворил дверь и очутился в передней административного святилища. Дряхлый инвалид с маленьким желтым лицом и побелевшими бакенбардами и усами, свирепо взглянул на меня.

— Я с депешами от главнокомандующего первой линией, и должен лично передать их министру.

– Министра нет, приходите завтра, – прохрипел привратник.

– Мне всё равно, я могу передать их директору, но ответа я должен добиться сегодня, и притом в самом непродолжительном времени.

– Директор занят и никого не принимает, – отвечал инвалид, изо всех сил стараясь вытолкнуть меня за дверь; он совершенно побагровел от усилий, но не мог сдвинуть меня с места. Бедного старика это совершенно выводило из себя, да и мне начало надоедать порядочно.

– Да ведь есть же здесь кто-нибудь повежливее и поумнее вас, – сказал я ему. – Я хочу, чтоб обо мне доложили, а если этого нельзя добиться, я войду без доклада, – и довольно вежливо оттолкнув храброго инвалида, пошел вперед. Сторож побежал за иной, ругаясь и крича на сколько хватало у него силы: «*signor maggiore!*»[97] На зов этот выбежал седой майор, без шпаги, с пером в руке и в расстегнутом вицмундире бурбонских офицеров. Не выслушав в чем дело, он прямо накинулся на меня. Поток резких слов и энергически

разводя руками под самым моим носом, он рассчитывал, кажется, совершенно уничтожить меня. Дав ему наговориться вдоволь, я решительно объявил, что не уйду, пока не передам депеш министру или директору, а если этого ни под каким видом нельзя добиться, то удовольствуюсь тем, что он, дежурный майор, даст мне записку, в которой изложит, почему он меня ни к министру, ни к директору допустить не хотел. Майор смягчился.

– Да вы точно с депешами? – спросил он недоверчиво.

– Да, вот они. Если хотите, отнесите их сами, только не медля ни минуты, потому что к вечеру я должен быть в Санта-Мари.

Майор взял бумаги, и через пять минут объявил мне, что директор требует меня к себе. Должность директора военного министерства соответствует должности товарища министра и начальника исполнительного департамента. В это время при Козенце в качестве директора был Дзамбеккари[98], ученый артиллерист и один из героев Римской республики 1848 г. Дзамбеккари очень стар и дряхл на вид; сколько численно ему лет, я не

знаю. Он родом из Болоньи, но говорит питальянски правильно, хотя и сохранил резкое произношение, вместе с добродушной бесцеремонностью и *prusquerie*[99] романьолов.

Я знал его еще прежде во Флоренции, где он принимал деятельное участие в организации ученой части экспедиции Никотеры. Он меня узнал тотчас же, и мы встретились как старые знакомые. Он передал своему секретарю привезенные мной депеши, и пока тот написал все нужные распоряжение, Дзамбеккари подробно расспрашивал о ходе дел на аванпостах и о некоторых находившихся там своих знакомых. Я рассказал ему весь план своих укреплений; он очень восстал против помещения центральной батареи под аркой.

— У бурбонов хорошая артиллерия, и если они повалят арку, то всех вас раздавят, как мышей.

Я возражал на это, приводил в виде аргумента прочность этой постройки, и что я не мог не воспользоваться этим природным блиндажом.

— Я этой арки не видал; надеюсь, впрочем,

что вы не опрометчиво решились на это, — сказал он.

Секретарь принес ему бумаги, он подписал их и подал мне. Я отправился.

По делу о мешках мне нужно было идти в инженерное депо, находящееся на Монте-Кальварио, то есть не очень далеко от министерства, но приходилось взбираться вверх, а это стоило порядочного конца.

В канцелярии я не нашел никого, и меня проводили на квартиру магазинного смотрителя, состоявшего в чине полковника бурбонской службы. Я застал этого почтенного штаб-офицера за обедом, в кругу всего семейства, состоявшего из порядочного количества детей разной величины и обоего пола. Прочитав бумагу министерства, он тотчас же откомандировал своего старшего сына, мальчика лет пятнадцати, распорядиться об отправке требуемого числа мешков, помимо всякой формальности, с двухчасовым поездом в Санта-Марию.

Было около половины второго. Я имел право возвратиться на аванпосты и решился им воспользоваться.

На Толедо, в одном из переулков, я нанимал маленькую комнатку, в которой оставались все мои пожитки, я тотчас же отправился туда. Это было нечто в роде *hôtel garni*[100] не из первоклассных. Внизу меня встретил толстяк хозяин и тотчас же спросил: «Правда ли, что Франческо должен возвратиться в Неаполь к своим именинам?»[101]. Я отвечал, что не знаю, должен ли он это сделать или нет, но несколько сомневаюсь, может ли он исполнить этот долг.

– Ну слава Богу! А то нас тут так напугали! Я уже собрал все свои вещи, и привел по возможности в порядок все свои дела, чтоб уехать, чуть только что-нибудь случится. Кстати, – прибавил он мимоходом, – вы не рассердитесь: я в вашей комнате поместил из ваших же. Он очень хороший человек; майор и без ноги; при Палермо, ему пушкой оторвало ее.

На моей постели действительно лежал молодой человек лет двадцати трех, очень красивый, но бледный как полотно, с черными кудрявыми волосами и маленькими усиками. Он извинился, что вынужден был поселиться

в моей комнате и рекомендовал себя: Либрио Къеза[102]. Я и прежде слышал о нем. При Палермо он командовал ротой и первый вошел в город с храбрыми своими товарищами. Они были встречены выстрелами из крепости; картечь сметала храбрецов целыми рядами, и капитану оторвало левую ногу от колена. Къеза нисколько не унывал от этого несчастья; он был переведен в главный штаб Гарибальди и ожидал только, пока залечатся следы ампутации, чтобы потом приступить к отправлению своей должности. Он с очевидным беспокойством расспрашивал меня о положении дел на передовой линии. Оказалось, что в Неаполе были распущены самые неблагонамеренные на наш счет слухи.

– Вчера еще, – сказал мне сам Къеза, – в кофейной, какой-то юноша француз, в красной рубашке и с подвязанной рукой, рассказывал, что он прямо из Санта-Марии, где только что было кровавое дело, что Гарибальди сильно ранен, а Менотти убит. Мне сильно хотелось попросить этого господина, чтоб он мне показал бревет[103], в силу которого он одевается гарибальдийским офицером. Голову даю на-

отрез, что это бурбонский агент: из дилетантизма врать такую чепуху, да еще публично, трудно решиться.

– Дело при Каяццо, конечно, было не в нашу пользу, – сказал я майору, – но оно не дает еще бурбонцам никакого преимущества над нами. Не скрою и того, что положение наше вовсе не из выгодных. Однако неприятель до сих пор еще не рискнул атаковать нас, и ограничивается пустой перестрелкой на Сант-Анджело, которая нам ничуть не вредна. Да к тому же мы с каждым днем становимся крепче в сильнее: строятся баррикады, подвозятся пушки и формируются новые полки. Если неприятель не атакует нас еще неделю, то, я думаю, мы сами начнем действовать наступательно. Впрочем, эти последние дни в королевском лагере заметно необыкновенное движение, и опытные люди ожидают чего-нибудь решительного.

С закатом солнца я был в Санта-Марии. Без меня замечено было какое-то движение на передовой линии, завязалась перестрелка, но скоро и прекратилась. Между тем били тревогу, войска все были на ногах, и часа два про-

стояли они под ружьем в ожидании.

– Отправьтесь на вашу батарею, – сказал мне Мильбиц, едва мы встали от стола. – Распорядитесь, чтоб орудия были готовы. Да имейте в виду, что там командует какой-то поручик из бурбонских драгун. Он хороший кавалерист, но в артиллерии, кажется, ничего не смыслит. Я написал, чтобы его сменили, а пока наблюдайте вы за этим; постарайтесь выбрать из команды человек двух-трех знающих, и обязанность ваша не будет тяжела.

Я отправился. Наша артиллерия состояла из двух шестифунтовых пушек, кажется, отливки 32-го года. Лошади и мулы, благодаря распорядительности поручика Бонвино, были в исправности, так что увезти орудия было бы очень легко, но отстаиваться с ними против серьезного нападения, признаюсь, я не видел большой возможности.

Поручика при орудиях не оказалось. Отправились отыскивать в кофейную в Санта-Марии. Через час он явился на гнедом жеребце, который фыркал и храпел, и второпях кажется перепрыгнул через мальчишку часового, который пытался было остановить лихо-

го ездока, так как тот не знал ни пароля, ни лозунга.

– Кому я тут нужен? – спросил он, лениво слезая с лошади и зевая. Я объяснил ему, зачем он был призван.

– Боже мой, вот еще беда! Не говорил ли я этим господам, что я в артиллерии никогда не служил и в пушках ничего не смыслю. Ну, что же я буду делать теперь? Нас атакуют, а я и зарядить пушки не умею. Добро бы еще команда была ловкая и привычная, а то мальчишки какие-то, сами ни о чем понятия не имеют.

Храбрый кавалерист был в совершенном отчаянии. Я несколько успокоил его. Приведя в известность материал и собрав команду, действительно состоявшую из мальчишек, мы соединенными силами зарядили оба орудия, – одно картечью, другое гранатой, – расставили часовых, расставили прислугу и улеглись отдыхать на лаврах, которые на этот раз показались мне довольно жесткими. Успокоившийся поручик долго еще объяснял мне превосходство неаполитанской системы фехтования над французской, но я не дослушал и

половины его аполонии и заснул сном праведных.

VIII. Ночь на 1-е октября

С утра бомбардировка на Сант-Анджело обрратилась в непрерывный рев пушек. Наши батареи отвечали довольно деятельно. На левом фланге и в центре всё было по-прежнему спокойно. Часам к 5-ти, после обеда, мой парашют увенчался тремя рядами мешков, и я торжественно отправился рапортовать об окончании своих работ. Когда работники были распущены, деятельный сподвижник мой, Доменико, подошел ко мне, произнес какую-то чувствительную речь и в заключение объявил, что он почитал бы себя вполне счастливым, если бы я дал ему на память записку о его геройских подвигах на пользу народного дела. Желая вполне обязать достойного абруцца, я пригласил его с собой в штабквартиру, написал официальную благодарность от имени начальника линии военных действий, и попросил Мильбица подписать ее и приказать приложить надлежащие печати. Дон Доменико обрадовался как ребенок,

когда я вручил ему наконец вождеденный лист и тотчас же отправился показать его своему верному наперснику дону Карло, которому с тех пор уже ни разу не позволял садиться за стол вместе с собою.

Едва повечерело, мне отдано было приказание отправиться в домик, занимаемый французской ротой, передать ее командиру некоторые распоряжения. Затем предстояло съездить еще раз на рекогносцировку, и наконец являлась возможность провести несколько дней в покое. Но рок судил иначе.

Я весело галопировал по скользкой мостовой, направляясь к аванпостам и лаская мечту о сладком сне на постели, которой не видал уже более десяти дней.

Cascina della Paglia, двухэтажный дом, в котором помещалась французская компания, отстоял шагов на двести от арки, несколько вправо от большой дороги, среди местности, усеянной каштанами и фруктовыми деревьями. Он был правильно ретранширован и обнесен рвом с небольшим парапетом. У входа меня окликнули и впустили по исполнению всех формальностей. Это меня удивило нема-

ло. Обыкновенно часовыми у нас стояли мальчишки, не знавшие никаких правил службы; они, едва окликнув, пропускали всех и каждого, или уже просто никого не пропускали, а чуть замечали несколько галунов на шапке у проходящего, то вместо всякого оклика или спроса, довольно отчетливо метали артикул. Но тут заметна была более строгая дисциплина.

В довольно большой, тускло освещенной лучернами комнате, за столом, сидело человек до двадцати солдат и офицеров. Они курили и пили и очень весело и шумно разговаривали между собою. Среди всеобщего движения, мальчик лет шестнадцати невозмутимо сидел на одном конце стола, болтал ногами и вслух по складам читал оборванный листок вероятно прошлогоднего неаполитанского журнала, выговаривая по-французски итальянские слова.

Меня приняли с таким радушием, что едва-едва, выпив стакана по три пуншу и коньяку и еще чего-то, я успел передать капитану сообщенные мне распоряжения. Пока там распоряжались о назначении пешего патру-

ля, я вышел, чтобы взять свою лошадь, оставленную мною на батарее под аркою, и присоединиться к конному разъезду капитана Б***. Командир Погам проводил меня до дверей.

– Знаете ли, – сказал он мне, – сегодня там за проселком один из моих зуавов наткнулся на бурбонских стрелков. Они, кажется, отдельными партиями перебираются по сю сторону Вольтурно. Место здесь очень удобное для сюрпризов всякого рода.

Я нагнал капитана Б*** у самой передовой баррикады и передал ему слова Погама. Мы долго блуждали по всем местам, где только могла пройти лошадь; прокрадывались под самые неприятельские аванпосты; Б*** обшарил все кусты на берегах Вольтурно. Заметно было особенное движение, по нас несколько раз стреляли, но по обыкновению не попадали. До стычек дело не доходило ни разу. Ночь была темная, подробно ничего нельзя было узнать, но по всему можно было заметить, что готовилось нападение. Во втором часу ночи мы отправились восвояси. Б*** с большею частью людей шел по шоссе. Поручик граф Малакари[104] и я вели остальных, пробира-

ьясь целиною около дороги. Уже в виду арки, нам с шоссе закричали остановиться и построить солдат в батальный порядок.

Несколько минут стояли мы, усердно прислушиваясь и, насколько позволяла темнота ночи, следили за движениями шедших по шоссе. Вдруг выстрелы, шум, крик, и какие-то тени быстро задвигались по дороге. «По нашим стреляют! Вперед!»

Мы поскакали и стали карабкаться по крутому подъему дороги. Линия была разорвана, и всяк лез сам по себе. В это время, с дороги, прямо на нас, в беспорядке побежали солдаты. Их застали врасплох, и они старались скрыться между деревьями. Гусары били саблями пробегавших подле них и спешили выбраться на шоссе, чтобы соединиться с капитаном. О преследовании не думали, а бежавшие не защищались. Я был уже на половине возвышения, как вдруг какая-то фигура, неизвестно откуда взявшаяся, повисла у меня на поводьях.

«Во имя короля, сдавайтесь!» – закричал нападавший задыхающимся голосом. Сабли наши скрестились в воздухе. С минуту мы

неистово колотили их одну о другую. Я не мог видеть своего противника; он был защищен шеей моей лошади, которую крепко держал за поводья. Между тем, последние из нашего отряда мчались мимо меня. Один из них подоспел ко мне на выручку. Противник мой выпустил поводья и выступил несколько вперед, так что очутился почти у моей левой ноги. Пока я успел выхватить револьвер, он выстрелил, и пуля прожужжала у самого моего уха. Мой выстрел был удачнее. Когда рассеялся дым, противника передо мною не было.

Я пришпорил лошадь и выскакал на дорогу. Гусары толпились, не успев построиться. Впереди была свалка. Мимо нас, с громом, прокатила пушка по направлению к Капуе. Несколько всадников промчались за ней. Им выстрелили вслед. Воспользовавшись очищенным ими местом, я подвинулся вперед. Поперек дороги стояла четверка лошадей с пушечным передком. На задней паре сидел солдат, другой готовился взлезть на переднюю. Дюжий венгерец вахмистр, наскочив на него, повалил его сабельным ударом и сильной рукой поворотил лошадей к нашей бата-

рее. Позади нас раздались выстрелы и послышался топот лошадей. Впереди, по дороге, видны были только наши гусары, начинавшие строиться.

– Ну с Богом, домой! Благо не с пустыми руками, – сказал Б*** и мы поскакали, таща за собой четверку с сидевшим на одной из лошадей бурбонским солдатом.

Погоня слышалась всё ближе и ближе. Раздалось несколько выстрелов, но никто не был задет. Венгерцы обертывались и выкрикивали насмешки или ругательства. Б*** был слегка ранен в голову; у меня было расцарапано левое бедро. Доехав до арки, где устроен был спуск, мы своротили с шоссе. Испуганный часовой отскочил в сторону, не окликнув, и мы проскакали за наши укрепления. «*Alt, alt!*» – раздалось оттуда, и целый батальон встретил нас в штыки. Мы остановились. Оказалось, что один из сицилианских полков Ла Мазы [105] стоял на аванпостах. Они, слышав нашу схватку, приняли нас за неприятельский отряд. Дело объяснилось, и все были в очень глупом положении. Ла Маза, случившийся тут же, вышел из себя. Он вскинулся на капи-

тана. Вся вина, впрочем, была на стороне часового, и оставив доблестного генерала кричать сколько ему было угодно, мы отправились восвояси. Несчастный пленник, совершенно одуревший, был снят с лошади и передан в руки национальной гвардии. Лошадей отвели в первую конюшню.

Мне была отведена квартира где-то на другом конце города. Отыскать ее в третьем часу ночи было мало шансов, и я рассчитал, что лучше отправиться в первую попавшуюся гостиницу. Сонный дворник, разбуженный моим отчаянным звоном и стуком, явился отворить и объявил мне, что в гостинице не было ни уголка свободного. Тем не менее я взобрался по лестнице. В столовой зале спали на полу и на столах. Случайно бросилась мне в глаза цифра на одной из дверей, и я вспомнил, что в пятом номере этой гостиницы живет мой короткий приятель, из богатой неаполитанской фамилии, воевавший в качестве дилетанта и числившийся при штабе Мильбица. Он как-то хвастался мне, что обладает целой комнатой, и что даже на диване у него никто не спит. Это в то время было редкостью, пото-

му что в самой маленькой комнатке обыкновенно помещались по три и по четыре человека.

Когда я вошел, приятель мой спал крепким сном. Я вознамерился последовать его примеру и попробовал уместиться на диване. Вышло очень неудобно. Диван был короток и набит чем-то вроде щебня. Желудок мой со своей стороны протестовал против долговременной диеты. Я снова зажег лучерну и отправился на фуражировку. В столовой дрожали все стекла от гула орудий на Сант-Анджело. Бомбардировка постоянно усиливалась. В буфете я нашел недопитую бутылку марсалы и кусок моцареллы, — пресного неаполитанского сыра.

— Карлетто, — закричал я, входя в комнату спящего товарища, — вставай скорее. Послушай, какие дела творятся на Сант-Анджело.

Карлетто не подымался. Я растолкал его, рассказал о нашей геройской победе над неприятельским пушечным передком и пригласил его ужинать с собой. Сначала, казалось, он был не совсем доволен неуместным появлением бесцеремонного гостя, но когда я

сказал ему, что я ранен и стал представлять, что очень страдаю от царапины на ноге, мягкое сердце неаполитанца заговорило. Он принял во мне такое нежное участие, что мне стало совестно за то, что я его надул, но у меня не достало силы отказаться от великодушного предложения воспользоваться его постелью. Я улегся, рассыпавшись в извинениях и любезностях в неаполитанском вкусе, и заснул, обещая ему утром же сделать его портрет акварелью во всю величину своего колоссального альбома.

Долго ли я спал, не знаю. Еще было темно, когда я услышал на улице страшное смятение, барабанный бой, крик к оружию. Я не знал даже, слышу ли всё это наяву, или во сне. Сил открыть глаза не было, и еще раздумывая о случившемся, я снова погрузился в глубокий сон.

IX. Утро

Меня почти силою стащили с постели. Надо мной стоял мой ординанца, испуганный, бледный. Карлетто в суетах спешил одеваться. Солнце только что всходило, барабан трещал, били тревогу. Отрывочные выстрелы раздавались ежеминутно.

– Что случилось? – спросил я, лениво потягиваясь, хотя вовсе не трудно было отгадать, в чем дело.

– *Reggi... Borbonici*[106]... – едва мог проговорить мой ординанца, – Едва рассвело... они привезли пушки и стреляют в ваш парапет. Генерал уже приехал.

Я торопливо оделся, велел оседлать лошадь и вести ее на батарею, а сам отправился пешком туда же. На улицах всё было пусто. Ставни везде закрыты. Все кофейные и лавки тоже. Трехцветные знамена Бог весть куда спрятались. Из-под ворот некоторых домов выбегали запоздавшие солдаты и офицеры, и оканчивая на улице свой туалет, спешили по направлению к Капуанским воротам.

Я вышел на поле, и передо мной откры-

лась живописная картина. На светло-голубом ясном небе вырисовывалась ярко освещенная розовым светом арка. Низ ее скрывался в белом дыму, в котором мелькали какие-то тени. Окрестность вся была покрыта густым белым дымом. Порой граната разрывалась в воздухе и усыпала землю огненными брызгами. Картечь с визгом неслась по самому шоссе. Из соседней казармы выбежал батальон в красных рубашках, и заряжая на ходу ружья, беглым шагом подвигался к арке. Полковник Порчелли, на гнедом маленьком жеребце, в белом плаще и с саблей наголо, ехал перед солдатами и ободрял их.

– Кажется, тепленький будет сегодня денек, – сказал он, подъехав ко мне. – А вы должны быть особенно благодарны им, за то что они дали вам время устроить все эти истории. Посмотрим ваши фортификационные способности! Ну, вперед ребята! – продолжал он, обращаясь к солдатам, и поскакал, шутливо салютуя мне саблей.

Его расторопности и храбрости мы много обязаны успехами этого дня, и я долгом считаю передать о нем то немногое, что знаю

сам. Порчелли родом араб, но родился в Сицилии и принимал деятельное участие в делах острова в 1848 г. В реляциях этого года встречается часто: *Porcelli benchè Arabo giura di morire per la causa del popolo* (Порчелли, хотя араб, клянется умереть за народное дело), или же: «*Porcelli, benchè Arabo, bene merito della gloriosa impresa* (Порчелли, хотя араб, но оказавший важные услуги славному предприятию и пр.). В юности он занимался литературой; слушал курс математики и военных наук. Жил долгое время в Англии. После 48-го года он был полковником египетской артиллерии.

Ближе к арке, дорога всё становилась опаснее. Ядра летали всё чаще и чаще. Пули, как рой мух, жужжали в воздухе. Я сошел с поля и пошел узкой тропинкой, тянувшейся вдоль его. На светлом фоне рисовалась сутуловатая фигура Мильбица в красной рубаше, без пояса и с саблей без портупей в руке. Его седая борода серебрилась, и очки блестели как алмазы. Он распоряжался у пушек. Рота солдат, цепью в один ряд, была расставлена за траншеей на дворе домика, где совершилась покупка

хвороста, о которой я говорил выше; человек до ста стрелков, присев за каменной оградой, поддерживали батальный огонь. Прикрытый этим же домом, стоял в боевом порядке полускадрон гусар и гвидов. Наши шестифунтовые пушчонки вели себя очень исправно. После каждых двух выстрелов, их обливали водою, и не переставали поддерживать огонь. На Сант-Анджело еще до рассвета началась атака; скоро и у амфитеатра загремели пушки. Биксио, командовавший 2-й линией, прислал известить, что Маддалони также атаковано многочисленной колонной бурбонцев.

В нашу батарею ядра не попадали, но зато вся дорога по сторонам ее была усыпана картечью, и пули сыпались проливным дождем. По всему можно было заключить, что против нас батарея сильного калибра. Ветра не было, и дым стлался по земле, не давая ничего разглядеть впереди. Минутами видны были колонны королевских солдат, а несколько подальше виднелась и кавалерия. Штыки и сабли блестели на солнце. Становилось жарче и жарче, запах пороха и жженого масла не давал дышать свободно. Вонючий дым фитилей

резал нос и горло. Мильбиц поминутно подбегал к амбразуре со своим биноклем. Несколько стрелков рассыпались между деревьями. При пушках не было порядочной прислуги, но подоспевшие офицеры, – один старый пьемонтец, другой только что выпущенный из неаполитанской артиллерийской школы, – управлялись прекрасно. После одного выстрела, направленного старым артиллеристом, неприятель не отвечал несколько минут. Дым несколько рассеялся. Королевские колонны приметно поредели. Из окон кашины «della Paglia» раздавались постоянные выстрелы. Командир Погам взобрался на крышу с биноклем и оттуда командовал. Между тем подоспел тосканский полк Маленкини. Наши пушки делали свое дело.

Мильбиц велел собирать охотников на штыки. Позвали трубача, но тот с трудом мог извлечь несколько нестройных звуков из своего инструмента: от жара или от страху, у него пересохло в горле. Едва показалось наше знамя, неприятель отсалютовал ему страшным залпом. Во дворе за оградой построился батальон, и полковник Порчелли повел его

на штыки. С криком *Savoia!*[107] бросились они вперед. Несколько человек повалилось тут же. Бомбардировка смолкла. В амбразуру ясно можно было видеть сильное движение между атакующими. Скоро они побежали. Им вслед выстрелили картечью, но скоро должны были прекратить пальбу, потому что и наши показались на дороге.

Несколько минут раздавался гул ружейной перестрелки, но и тот скоро стих; неприятель рассыпался между деревьями. Батальон наш возвращался с атаки, неся на штыках шапки бурбонских солдат и другие трофеи подобного рода. Впереди шли два бурбонские артиллериста: один гладко выстриженный, черный, без шапки; голова его была прорублена, и всё лицо облито кровью; он едва передвигал ноги. Другой, рыжий, с усами и бакенбардами, не был ранен. Он смотрел по сторонам с испугом и бессмысленно лепетал невнятные слова. Обоих вели под руки, и оба в этом очень нуждались, потому что и не раненый тоже едва держался на ногах; он был пьян мертвецки. За ними человек двенадцать тащили 16-ти фунтовое нарезное орудие, в ко-

торое была впряжена верховая лошадь. На батарее пленные были встречены торжественными свистками, и нужно было очень деятельное вмешательство офицеров, чтобы прекратить эту отвратительную сцену. Из храброго батальона не досчитались многих. Многие наскоро перевязывали свежие раны. Пушку не без труда вытащили на шоссе позади батареи. Вся верхняя часть дула была взборождена картечью и забрызгана кровью; над затравкой – уродливая масса мозга, крови и волос: старый пьемонтец целил метко.

Этот успех произвел на всех хорошее впечатление. Все смеялись и шумели. «Они нам подарили сегодня пушку ко вчерашнему передку», – сострил Б***, и острота эта была очень хорошо принята неразборчивой публикой. Между тем опросили пленных. Что-нибудь цельное трудно было узнать из их запутанных показаний. Им было объявлено, как они сказывали, что на нас со стороны Неаполя ударят с тылу, пока они с фронта завяжут дело, что у нас пушек нет, и что король обещает по возвращении в Неаполь выдать им разом полугодовое жалованье и позволить им

три дня грабить в городе и окрестностях, а пока дали им по несколько карлинов[108] на человека и водки *a discrezione*[109].

Между тем, на других пунктах стрельба не умолкала. На Сант-Анджело требовали подкрепления. Ла Маза, стоявший на батарее железной дороги, дал знать, что он атакован и что с имеющимися налицо силами вряд ли будет в состоянии удержаться.

Мильбиц был в очень затруднительном положении. Ослабить центр было бы неблагоприятно, тем более что всего было около трехсот человек. В резерве было до двух тысяч калабрийцев, стоявших в Казерте. Мильбиц отправил офицера к Гарибальди, находившемуся на Сант-Анджело, просить распоряжения о приводе этого резерва.

Пока старались уместить вновь отбитую у неприятеля пушку и правильнее распределить позиции, на колокольне пробило 10. Вслед за тем раздался выстрел. Граната упала шагах в пяти от арки и запрыгала, шипя и отдуваясь.

– Ну, опять за дело! Постоимте за себя.

Неприятель пришел с большими против

прежнего силами. Пальба началась вновь. Немецкие пехотные полки стали напирать на линию между аркою и амфитеатром. С огромными усилиями и потерями оттолкнув одну колонну, мы тем же следом должны были выдерживать новое нападение. Неприятель был по крайней мере вчетверо многочисленнее нас. Кавалерийский полк королевы и эскадрон гусар выжидали минуты напасть на нашу батарею, а неприятельские пушки не переставали ни на минуту громить нас самым бесчеловечным образом. Кругом всё падало и валилось. Иной раз бомбы долетали в самый город на центральную площадь. В таком положении дело тянулось часа полтора. Со всех пунктов к начальнику линии являлись требовать подкрепления, а недостаток людей более всего был ощутителен в центре.

На батарее железной дороги два раза меняли прислугу у пушек. Несколько штурмов отбито было с большими потерями. На Сант-Анджело наши были сбиты с позиции. На линию между аркой и амфитеатром Кампана напирала всё с большей настойчивостью. В нашей центральной батарее не было, правда,

никого ни убито, ни ранено, но отстаиваться с двумя старыми орудиями против сильной батареи гораздо высшего калибра было очень затруднительно. Удивлялись только, что наши пушки могли выдержать такую отчаянную пальбу. Сильный отряд кавалерии угрожал нам постоянно, и, если б он смело бросился в атаку, то устоять при наших средствах было бы невозможно. И как назло, день был жарче обыкновенного. Зловонная атмосфера душила. Все с самого утра не ели и не пили, и многие буквально валялись от жажды. Фляжка моя иссякла, как груди дочерей Шалима[110].

Х. Полдень

Неожиданная катастрофа значительно ухудшила наше положение. Неопытный офицер, о котором упомянул я выше, только что вышедший из школы, прикладывая фитиль к затравке, уронил несколько искр на разложенные возле заряды. Порох вспыхнул. Несколько ближе стоявших артиллеристов были изуродованы самым ужасным образом. Мильбица и нескольких других бросило на землю. Меня осыпало огненными брызгами и обожгло мне лицо и плечо. Всё перепугалось и пришло в смятение. Неприятель прекратил пальбу, и конница марш-маршем понеслась в атаку.

Сколько можно было собрать на лицо вооруженных людей, было выведено вперед, прежде чем они успели построиться. Из окон домика, занимаемого ротой французов, на атакующих несся град пуль. Оставшимся зарядом выстрелили в самый центр колонны, и граната произвела опустошительное действие. В беспорядке приостановился атакующий эскадрон. Многие бросились бежать на-

зад.

Меня откомандировали на станцию железной дороги, где был целый вагон, накануне пришедший из Неаполя с порохом и ядрами.

Лошадь, испуганная выстрелами, и придерживаясь, вероятно, поговорки «на людях и смерть красна», кобенилась и не хотела отходить от своих собратий. Выехав наконец на место, куда мало долетали пули и где воздух был чище, я вздохнул свободнее. Рота, только что воротившаяся с одного очень опасного пункта, где потеряла около половины своего состава, строилась вновь. Капитан, толстый генуэзец, ходил по рядам, ободряя падших духом. Ему предстояло вновь вести их в атаку. Он подошел ко мне и попросил у меня сигару. Я вынул из кармана портсигар и подал ему. Тот протянул руку, и вдруг, застонав, повалился на землю. Шальная пуля ударила его прямо в лоб, и он умер на месте.

В вокзале железной дороги я застал начальника станции и нескольких чиновников, всех в тяжелом волнении. С батареи по направлению к Казерте тянулась непрерывная цепь бегущих. Одни хладнокровно шли с ру-

жьями; другие, побросав и ружья и шапки, бежали что было силы, ничего не видя, ни перед чем не останавливаясь. Несколько человек гвардии общественного спокойствия (*guardia di sicurezza*) поставлены были с целью удерживать бегущих, но это им не всегда удавалось. Замечателен тот факт, что некоторые из бежавших очень геройски сопротивлялись усилиям желавших вернуть их на место битвы. Во избежание риска, они добровольно шли на неизбежную опасность. По категориям Жан-Поля Рихтера[111], их бы нужно было причислить к первому разряду трусов. Прибавлю, что таких больше всего встречалось между сицилианскими *пиччиотами* (*picciotti*). Тут же на станции был устроен перевязочный пункт для подания первой помощи раненым, которых отправляли в госпиталь, в Казерту. Врачи однако же, достав ружья, побросали свои посты и отправились на батареи принести посильную помощь другого рода.

Я сообщил начальнику станции приказание генерала. Оказалось, что за минуту почти до моего приезда, он отправил вагон с зарядами в Казерту, опасаясь, чтобы залетавшие из-

редка гранаты не взорвали его на воздух.

Поезда железных дорог между Капуей и Неаполем обыкновенно ходят очень медленно. У меня была очень хорошая лошадь и притом совершенно свежая, и я пустился вдогонку. Почти на полпути я нагнал его и закричал кондуктору остановиться. Тот исполнил мое приказание, но возвращаться не хотел, говоря, что не может этого сделать без приказа директора, которого я не догадался приторочить к седлу, по примеру Ильи Муромца и других русских богатырей. Положение было до крайности глупое. Я из сил выбивался, измучив лошадь, которая в тот же день могла еще пригодиться мне, и не добился своей цели. Пришлось однако возвращаться. Начальник станции расвирепел при моем рассказе, говорил, что кондуктор просто из трусости не хотел воротиться и грозил обрушить целую гору бедствий на шею злополучного. В Казерту телеграфировали. Я сделал все зависевшие от меня распоряжения и отправился.

Мне было также дано поручение заехать на батареи железной дороги и узнать каково там положение дел. Положение дел там было

очень скверное; батареи были значительно попорчены. Множество офицеров переранено, артиллеристы перебиты, а при пушках прислуживали линейные солдаты, что вовсе не способствовало удачному ходу дел. Ла Маза сильно сомневался в возможности отстоять позицию; бывший при нем Коррао, в крови как мясник, не падал духом. Бурбонцы людей не жалели. Они потеряли уже большое количество ранеными и пленными, но пользуясь численным преимуществом, нападали постоянно с новыми силами.

Очевидно, целью их было, во что бы то ни стало, прорвать нашу линию в каком-нибудь пункте, и затем, зайдя нам в тыл, отрезать от главной квартиры, одним словом, покончить всё дело разом.

Оставив железную дорогу, я отправился назад по направлению к арке. Местность целыми рядами была усеяна трупами убитых, наших и неприятелей. Местные жители, как вороны, бросались на тела, поканчивая стилетами тех, которые не совсем были убиты. Проезжая, я спугнул несколько таких стад. Впереди чернел полусторевший дом. В начале

утра, туда снесли наших раненых.

Королевские войска, после яростного сопротивления, прогнали оттуда наших стрелков и зажгли дом. Когда, через несколько времени потом, батальон тосканцев занял опять эту позицию, они нашли всех раненых перебитыми варварским образом. Старуха, хозяйка дома, лежала с пробитою головой, а нижняя часть ее тела была обращена в уголь. Та же участь постигла тех из раненых, которые лежали на соломе. Бывший при них доктор пропал без вести!

Признаюсь, не без внутреннего трепета проскакал я мимо этой виллы, но не лучшее ждало меня и впереди. Несколько человек стрелков были рассыпаны между деревьями с обеих сторон. Пули вновь жужжали как мухи, и я верхом и в белом плаще служил превосходной мишенью. К счастью, в стороне шла довольно глубокая межа, вдоль которой тянулась стена из ив и акации. Я своротил туда и, прищпорив лошадь, поскакал что было духу. Жажда меня мучила, голова кружилась от быстрого бега лошади; уцепившись за гриву рукой, я шпорами и голосом подгонял своего

утомленного буцефала.

Перед аркою был жестокий рукопашный бой. Через каждые четверть часа сшибались новые колонны, но королевские войска не выдерживали бешеного напора волонтеров. В беспорядке бежали рота за ротой, но постоянно новые являлись им на смену. Наши же не имели ни минуты отдыха, и если мужество их не слабело, то силы страшно истощались этой упорной борьбой на жаре в 30 градусов.

Трудно было рассчитывать на успех.

Во время моего отсутствия успели уставить отбитую утром пушку, но так как зарядов оставалось мало, то батарея вынуждена была действовать очень слабо.

Тосканцы Маленкини и сицилианский батальон Томази действовали с особенным усердием. После стычки, длившейся несколько часов, они возвращались перевести дух и потом вновь шли в дело.

В ту самую минуту, когда я подъезжал к батарее, там случился один из тех кризисов, которыми часто решается судьба сражений. На этот раз он был не в нашу пользу. Истощенные жаждой и усталостью, две роты, удержи-

вавшие натиск кавалерии, пошатнулись и в беспорядке побежали. Уже слышался топот, крик и бряцанье, уже ясно можно было различить усастые рожи драгун королевы, которые летели на нас и гнали по пятам убежавших. Минута, и всё бы пропало.

«Гарибальди, Гарибальди!» И калатафимский герой[112] словно с неба свалился в это мгновение. Присутствие любимого вождя вдохновило всех.

«*Alla baionnetta!*[113] *Viva l'Italia!*» и всё, что могло еще стоять на ногах, выбежало из батареи, несмотря на град пуль, ни на ядра, свиставшие и рассекавшие воздух по всем направлениям. Мильбиц, раненый в ногу осколком гранаты, прихрамывая, ходил между рядами. Гарибальди, как заколдованный, был спокоен и невредим среди всеобщего движения. Вдруг меня осыпало искрами и песком; будто миллионы булавок вонзились в тело, потемнело в глазах, и я грянулся оземь.

XI. Вокзал

Я очнулся в фургоне. Мною овладело какое-то летаргическое состояние; я не мог ни пошевелиться, ни издать звука, а вместе с тем видел и понимал всё, и окружавшая меня адская сцена с такой болезненной ясностью врезалась в мою память, что вряд ли когда-нибудь позабуду ее. Стоны и пронзительные крики, дребезжание колес и гул отдаленной перестрелки, я слышал и различал всё. Прямо против меня лежала какая-то уродливая масса, в которой трудно было узнать человеческую фигуру; лицо было черное как уголь, ни бровей, ни усов, ни волос на голове; всё вспухло и черты слились в безобразный нарыв. Вид его возмущал во мне все внутренности, и я не мог повернуться, не мог отвернуть голову. На полу фургона сидел кто-то с опущенной на грудь головой, так что лица его мне не было видно; в волосах запеклась кровь, и кисти его измученных рук с оборванными ногтями и пальцами лежали на голой обнаженной груди; и я чувствовал, как из них по каплям сочилась горячая кровь. Сам я не

чувствовал никакой физической боли, но мной овладело полное изнеможение, притупление всех сил, право, стоившее всякой боли.

Фургон тащился медленно, дребезжа и подпрыгивая по неровной мостовой, и каждый толчок его сопровождался воплями несчастных пассажиров. Не знаю, сколько времени продолжалось это дьявольское путешествие. Мы дотащились наконец до вокзала железной дороги, где, как я уже сказал, был устроен первый перевязочный пункт. Несколько легкораненых, бледные, измученные, толпились на площадке. Сицилийский офицер, командовавший стражей общественного спокойствия (*guardia di sicurezza*), гарцевал на вороном коне и отдавал приказания своим людям, выгружавшим раненых из фургона. Сострадательное лицо доброго капитана, не успевшего еще свыкнуться с отвратительными ужасами войны, судорожно содрогалось всякий раз, когда новая обезображенная фигура появлялась на черных залитых кровью носилках, но он старался подавить в себе этот человеческий трепет, как не соответствовавший отправляемой им обязанно-

сти.

Очередь дошла и до меня. Четверо дюжих рук подхватили меня под плечи и за ноги, не обращая никакого внимания на то, что правый бок мой представлял одну сплошную рану. Когда я очутился на носилках, капитан подъехал ко мне, и, узнав меня по ножнам турецкой сабли, единственной принадлежности моей особы, которая сохранила свой естественный вид, он пришел в такой ужас, что забыл даже чувство собственного достоинства. До этого, мы встречались с ним в кофейной; как-то он оказал мне довольно значительную услугу, а я нарисовал его портрет; одним словом, мы были друзья закадычные.

– *Santo diavolone!* – едва проговорил он от волнения, – тебя, *caro mio*[114], так обрабатывали.

Чувствительный сицилианец растрогался до того, что в эту минуту считал меня своим единственным и лучшим другом. Я ни словом, ни взглядом не мог выразить ему благодарность за участие; он, кажется, счел меня убитым и принялся читать окружавшим мою надгробную речь, в следующих выражениях.

– Ну, не разбойники ли, *Virgine Santissima!* [115], не сущие ли еретики эта сволочь? (Эта часть его речи относилась к бурбонцам.) Вот посмотрите сюда: ведь не узнаешь, что человек лежит... Осторожнее, Пиппо, ты несешь раненого, словно куль сушеных фиг... А я знал его, был его другом, и могу сказать вам, что это за человек такой был. В полчаса бывало нарисует портрет с кого хотите, с ногами, со всем, и рубашку красную сделает. Давно ли подумаешь делал он мой портрет, тут в кофейной *del Molo*, за бутылкой Чентербе... Чентербе пил он как природный калабриец... Похоже вышло очень; все, кому ни покажу, сразу говорят: да это Чезаре Паини. Я жене послал его; кто знает, ведь может и я завтра буду на этих же носилках. А он, сердечный, не поплачет по-дружески надо мной, как вот я теперь над ним плачу.

И дон Чезаре, забыв совершенно долг службы, утирал грязной перчаткой глаза.

– Ну, да кладите его осторожнее сюда на диван; он еще чувствует. Я действительно чувствовал. Дюжие руки усердных сподвижников дон Чезаре так меня комкали и дави-

ли, что у меня вырвался какой-то нечленораздельный звук. Чувствительный капитан обрадовался. Молодой доктор развязно подошел ко мне, сопровождаемый фельдшером, навьюченным коробкой походных медикаментов.

– Эк одолжили! – флегматически заметил он, рассматривая меня и закуривая сигару.

– Да что с ним? – тревожно спросил Паини, – будет он жив, как вы думаете?

– Что? Кажется, граната огрела. Рана, впрочем, не опасна, не видно, чтобы что было изломано. Умереть бы не от чего, только мы все здесь такую собачью жизнь ведем, что готовы придраться к первому случаю и высунуть язык. Всё полумертвых навезли, – прибавил он с неудовольствием, – не у кого и расспросить, что у них там делается такое. Денек жаркий.

Между тем он достал из коробки пузырек и налил мне из него в рот несколько капель. Это меня освежило.

– Добрый стакан марсалы разом бы поставил его на ноги. А вот посмотрим, что у него в фляжке.

Фляжка оказалась пуста. Благодаря усердию Чезаре Паини нашелся стакан марсалы. Мне влили его в глотку. Он подействовал хорошо. Меня попробовали поставить. Правый сапог, казалось, был налит свинцом; голова кружилась, и я повалился как сноп. Меня уложили на чистом воздухе. Доктор всё добивался, чтоб я рассказал ему о ходе битвы, но я не в состоянии был связать двух слов. Делать было нечего. Он пожелал мне скорого выздоровления и отправился к другим раненым.

Я лежал в тени на жестком диване. Чувства мои мало-помалу стали приходить в порядок. Гром пушек и ружейный огонь продолжались с прежней яростью. Постоянно подвозили раненых. Когда пришел новый фургон, из него вынули и положили подле меня юношу с красивым лицом, бледным как полотно. Темно-каштановые волосы космами падали на высокий лоб; легкий пух едва оттенял верхнюю губу. Он был спокоен; глаза закрыты; ни раны, ни крови не было видно на нем, только рубаха на груди была слегка разорвана. Когда его снимали с носилок, он застонал, судорожно вытянулся, и возле меня положи-

ли уже труп его, без малейшего признака жизни.

Тех из раненых, которые не могли выдержать дальнейшей перевозки, бережно переносили в госпиталь Санта-Мари. Многие умирали, пока их укладывали на носилки. Остальных решили переслать по железной дороге в Казерту, где госпиталь больше и удобнее. Я попал во вторую категорию. В ожидании поезда мы лежали на дебаркадере. Директор станции, семейство его и несколько других чиновников внимательно за нами ухаживали. Число ожидавших постоянно увеличивалось; вновь прибывавшие были по большей части ранены ружейными пулями, из чего можно было заключить, что дело приняло другой оборот.

Едва мои мысли немного пришли в порядок, я вспомнил решительную минуту, в которую я оставил сражение. Исход его сильно интересовал меня.

Между тем вагон с порохом и зарядами, о котором я телеграфировал в Казерту несколько часов тому назад, успел явиться. Из батареи был прислан офицер главного

штаба для наблюдения за разгрузением его. От него я узнал следующее.

Кавалерийский полк, шедший на нас в атаку, был встречен, с фронта, всем войском, находившимся в батарее у арок, а с фланга — сильным ружейным огнем французской роты из ретраншированного домика. Несколько раз неприятель отступал, но потом снова возвращался, пока, наконец, потеряв почти всех офицеров и множество рядовых, побежал в беспорядке. Баварские гренадеры отдельными пелотонами[116] ударили на нас в штыки, но везде встречали крепкий отпор. Артиллерия осыпала нас гранатами и картечью. Мильбиц был контужен в ногу, но не оставил сражения. Гарибальди, по обыкновению, словно заговоренный, оставался цел и невредим среди ядер и пуль, которых как будто и не замечал вовсе. Наши пушки едва отвечали; с нетерпением ожидали подвоза зарядов, чтобы открыть решительный огонь. Неприятель по-прежнему напирал с особенной силой на линию между амфитеатром и аркой; более двух часов продолжалась рукопашная схватка.

Исход ее был пока неизвестен. Отчаянное мужество и стойкость гарибальдийцев уравновесили численное превосходство королевских войск. Наши батареи на Сант-Анджело несколько раз были отбиваемы, но опять переходили в наши руки. Ждали с часу на час прибытия подкрепления из Казерты. Это ожидание ободряло наших солдат. Королевские солдаты были зауряд мертвецки пьяны. Некоторые, по преимуществу немцы, дрались как звери; но неаполитанцы, не привыкшие к вину, валились с ног и часто целыми ротами попадались в плен. От них узнали, что им было объявлено о высадке в Гаэту 20 тысяч австрийцев; другие говорили, что австрийцы должны высадиться в Неаполе и напасть на нас с тылу. Не видя исполнения этого обещания, многие догадались, что их обманывали, и совершенно упали духом. Войску отдан был приказ жечь все те места, где жители стали бы оказывать им сопротивление; в ранцах у пленных находили фашины из виноградной лозы, пропитанные смолой, и коробочки спичек. Одни говорили, что за несколько дней перед тем из Капуи вышла колонна в

несколько тысяч человек, но ни численного ее состава, ни назначения с точностью определить не могли.

Гарибальдийцев в плен было взято немного. С ними обходились бесчеловечно; убивали раненых, вешали их на деревья и жгли живых. Накануне еще попался в руки бурбонцев пьемонтский берсальер. Ему вырезали глаза, поворотили его лицом к нашим батареям и заставили бежать против наших выстрелов, стреляя сами ему вслед. Всё это остервенило наших солдат. Они сознавали ясно, что если линия наша будет прорвана, хоть в одном пункте, всё погибнет. Неаполь сам постоять за себя не мог. Рассчитывать на национальную гвардию и на небольшое число гарибальдийцев, оставшихся в Неаполе из трусости, было бы безумством. Кроме того, в случае поражения, всех нас ожидала мученическая смерть. А потому каждый был готов умереть в поле, и это много способствовало победе.

Многие журналы, великодушно отдавая полную справедливость храбрости гарибальдийцев, говорят, что они разделили честь этого дня с королевскими войсками. Допустив,

что бурбонцы и победили бы при Вольтурно, я не думаю, чтоб этим прибавилась славная страница к тощей истории неаполитанского войска. Подавить врага, вшестеро слабейшего числом, немного нужно доблести. Кроме того, хотя Франческо II и роздал медали людям за это сражение, хотя *Journal des Débats*[117] и не признает бурбонцев пораженными, факт красноречиво говорит сам за себя. Цель бурбонцев была завладеть Неаполем, для чего им нужно было прорвать в каком бы то ни было пункте нашу линию. Гарибальдийцы отстаивали свою позицию и отстояли. На чьей же стороне победа?

Раздался пронзительный свист машины, и девятивагонный поезд плавно подкатился к дебаркадеру. В окнах мелькали красные рубашки и смуглые чернобородые головы под остроконечными калабрийскими шляпами. С криком и песнями выскакивали оттуда лихие калабрийцы и, гремя ружьями, убегали за решетку.

– Мы отмстим за вас, – сказал чернобородый тридцатилетний геркулес, пробегая мимо дивана, где лежал я в числе раненых, и

сжимаемая рукоятку торчавшего за пазухой кинжала. Я вовсе не был расположен прибирать поэтические сравнения, но вид этих дюжих и здоровых молодцов, горевших жаждой крови и мести, напомнил мне стадо молодых львов. Горе, кому первому придется выдержать их бешеный натиск!

Последствия не обманули меня. Калабрийцы решили судьбу дня. Они не выстояли на местах, им назначенных, и побросав ружья, бросились на расставленных против них немецких егерей Франческо II. Те побежали в совершенном беспорядке и помяли своих.

Вагоны опорожнились, нас уложили в них, и мы отправились при аккомпанементе отчаянной пальбы. Ядра от времени до времени падали близ железной дороги и с визгом взрывали землю. Жар стихал понемногу; тени росли к востоку; окрестность заволоклась белым дымом, сквозь который мелькали фантастические фигуры. Порой мы обгоняли бежавших с поля битвы. Одни бежали без оглядки; другие шли медленно, истощенные жаждой и трудом. А в вагоне крик и стон, страдания и проклятия; та же адская сцена, как и в

памятном мне фургоне.

ХII. Казерта

На улицах было пусто. Кое-где испуганная фигура дезертира жалась к стенке и пряталась за угол. В пришедших из Неаполя извозчичьих колясках перевозили раненых со станции железной дороги в госпиталь. Печальная вереница их тянулась через весь город. У ворот госпиталя нас встретили больничные служители, в черных военных сюртуках. Бóльшая часть их были приходские священники из сел и городков Калабрии, преданные долгу свободы и своему народному герою. Все чиновники при госпитале были прежние бурбонские офицеры и носили еще свою старую форму.

Носилок было немного и приходилось долго ждать очереди. Широкоплечий священник подошел ко мне.

– Брат мой! – сказал он кротким голосом, – можешь ли ты взойти по лестнице?

Я вздумал попробовать. Офицерские комнаты были во втором этаже, а я, несмотря на деятельную поддержку своего спутника, едва

мог взобраться на две или на три ступеньки. Он взял меня на руки, как ребенка, и твердым шагом пошел наверх.

В первой комнате я увидел живописную сцену. На кровати сидел мужчина лет тридцати, без рубашки, очень красиво сложенный. Фельдшер держал лучерну и ящик с корпией и хирургическими принадлежностями. Женщина лет 23, красивая и стройная, в мужском наряде, в крошечных ботфортах со шпорами и с маленькой саблей на бедре, перевязывала на груди его рану. Ставни были заперты, и вся эта сцена освещалась мягким, теплым светом лучерны, словно группа Герардо делле Нотти [118]. Женщина эта была известная графиня Мартини делла Торре [119], смело делившая труды и опасности волонтеров во время похода в Калабрии.

Отдельные комнаты все были заняты, и меня уложили в довольно большой зале, где стояло около шести кроватей с больными и ранеными офицерами. Явился доктор, наш старый знакомец венецианец, принимавший деятельное участие в поимке шпионов на баррикаде пред Капуей.

Он, с редким в военных врачах вниманием и осторожностью, перевязал мои раны, дал мне какой-то, кажется, наркотический порошок и велел немедленно принести мне чашку бульону.

Покой и удобная постель благодатно подействовали на меня. Я чувствовал, как возвращались силы, и молодость брала верх над истощением и усталостью.

Священник, втащивший меня наверх, подошел к находившемуся в углу столику, на котором был приготовлен обед, состоявший из хлеба, бульона и кисти винограда. Калабриец без церемонии взял суп, чтобы подать его мне. Откуда ни возмись курносый фельдшер с казенной физиономией, и вскинулся на него. Он упрекал его в незнании дисциплины и порядка, в преступном своеволии, и разразился таким потоком слов, что несчастный был совсем ошеломлен.

– Не знаете разве, что это я для мисс Уайт [120] приготовил: она с утра ничего не ела, – заключил тот, думая окончательно уничтожить своего противника.

– Для англичанки? – спокойно сказал свя-

ценник, – ну так я смело беру эту чашку. Это не та пьемонтская графиня, и не станет поднимать шум из-за того, что ее обед съест усталый и израненный человек. Она ведь «для людей» здесь дни и ночи просиживает с больными.

В это время вошла женщина лет под сорок, рыжая, худая, с некрасивым, но до крайности добрым и симпатическим лицом. На ней была надета красная гарибальдийская рубаша и длинная амазонка, без кринолина.

– А вот она сама. *Ecco la marchese*[121], – торжествующим голосом сказал подлекарь.

– В чем дело? – спросила вошедшая по-итальянски с отчаянным английским акцентом.

– Вот видите, *signora marchese*, – затрепал фельдшер сладеньким голосом, – я для вас обед приготовил, а он вот хочет нести его кому-то. Ведь вы еще с утра ничего не кушали, а для больных всё будет приготовлено к вечеру. Смотритель сейчас должен составить смету.

Signora marchese, не дослушав его, взяла чашку из рук калабрийца.

– Кому это? – спросила она. Тот указал на меня. Она сама поднесла мне чашку. – Я тебе

несколько раз говорила, чтобы ты не мешался не в свое дело, – сухо сказала она озадаченному подлекарю; тот оконфузился и обиделся.

– Помилуйте, *signora marchese*... Я об вас же... а вы... вы мне *ты* говорите... Ведь я чиновник.

Маркиза пропустила сквозь зубы «гм!» в ответ на речь обиженного фельдшера. Она обошла всех раненых. Со всеми говорила, всем говорила *ты*, распоряжалась, сделала несколько замечаний прислужникам и вышла из комнаты.

Между тем вокруг меня собралась кучка любопытных, требовавшая обстоятельного и подробного рассказа о военных действиях. Я, насколько мог, старался удовлетворить их любопытство. У меня открылась сильная лихорадка, но я был значительно крепче и свежее. Вместе с жизнью, во мне проснулись старые привычки, и я бы дорого дал за сигару. Но вот один из присутствующих очень великодушно предложил мне целую пачку неаполитанских сигар, хотя и дрянных, но зато даровых. Я дрожал под двумя теплыми одеялами, зубы били тревогу, но трудно объяснить, ка-

кое отрадное ощущение пробудили во мне первые глотки очень не ароматического дыма грошовой сигары. Рассказ мой был очень воодушевлен и слушатели остались довольны. Вдруг, как гром небесный, раздался над нами тонкий и спокойный голос мисс Уайт – *Andate via!*[122] – скомандовала она и публика расступилась.

Она подошла ко мне неслышными шагами.

– Ты куришь, – сказала она мне, – это очень вредно. Брось сигару.

Я со страстью прижал к губам эту драгоценность и готовился отстаивать ее с гораздо большим упорством, нежели Шиллер Лауру в своей *Resignation*[123].

– Я сама много курю, – продолжала амазонка, – а на днях я с лошади упала и нос себе расшибла (нос ее еще хранил следы этого события), – перестала курить, и всё зажило само собою.

В Италии вообще куренье считается очень вредным, и при всякой болезни доктора запрещают пациентам курить. Я просил мисс Уайт рассказать мне все, что она знала о ходе

битвы, результат которой очень интересовал меня. Она отвечала, что она ровно ничего о ней не знает, но зато твердо убеждена в том, что гарибальдийцы останутся победителями; прибавила еще, что она велела уже оседлать себе лошадь и сейчас отправляется в Сант-Анджело. Потом, заметив, что у меня сильный озноб, она накрыла меня своими бурнусами, и ушла, обещая скоро доставить благоприятные известия.

Мисс Уайт, жена маркиза Марио, друг Мадзини, горячая партизанка Гарибальди, принимала с давних пор очень деятельное участие в судьбах родины своего мужа. Она, вместе с графиней делла Торре заведовала госпиталями, и ей исключительно обязаны раненые гарибальдийцы теми немногими удобствами и попечениями, которые они находили во время своей болезни. Много других итальянских дам, увлеченных ее примером, решились исполнять трудную должность сестер милосердия. Между маркизой Марио и графиней делла Торре отношения были, как и следовало ожидать, очень враждебные. Характеры и наклонности этих двух женщин были

слишком противоположны. Хорошенькая графиня, вполне светская женщина, ветреная и часто капризная, несмотря на все свои добрые намерения, не могла затмить практическую и опытную англичанку. Явилась *jalousie de métier*[124]. Вместо того чтобы содействовать и помогать друг другу, началась мелкая вражда, к которой способны только женщины и от которой не легче было бедным раненым. Впрочем, нужно отдать справедливость маркизе Марио: она с редкой добросовестностью выполняла возложенную ею самой на себя обязанность и никогда не увлекалась самолюбием или завистью до того, чтобы забыть тех, на служение кому она обрекла себя.

Все госпитальные чиновники и служители, сообразно своим склонностям и характеристам, пристали к той или другой из враждовавших сторон. Всё, что было горячо преданного делу, калабрийские священники, например, приняли сторону маркизы. За графиней осталась вся молодежь, все увлекавшиеся романтической стороной дела, или просто хорошенькой женщиной. В числе ее же партизанов были и те, которые несколько побаива-

лись порядка и которым не по вкусу приходилось прямодушное обращение маркизы.

Из Санта-Марии пришел фургон. В нем были два раненые бурбонские полковника и священник, который умолял, чтоб его перевезли куда-либо подальше от этих сцен убийства и разрушения. Все, кто мог ходить, бросились навстречу новоприезжему. Я не был из их числа и принужден был ограничиться неточными сведениями, переданными этим достойным прелатом и перешедшими уже через десятые руки. Нечего и говорить, что принесенные им известия были очень неполны. Мало-помалу я заснул.

Когда я проснулся, солнца уже не было; красная полоса тянулась на западе. Выстрелы были очень редки. В комнате, где я лежал, суетились и бегали. Озноб у меня сменился жаром; всё окружавшее я видел как во сне. Я слышал, что кругом о чем-то говорили с волнением и беспокойством, но не мог уловить нити разговора.

Дверь отворилась, и мисс Уайт вошла торжественно.

– Гарибальди велел сказать вам, что побе-

да за нами: *Siamo vincitori su tutta la linea*[125]. (Мы победители на всей линии.) – Слова эти, тон, с которым она их произнесла, и даже особенность ее произношения резко врезались в моей памяти.

Между тем разнесся слух, что бурбонские войска подходят к Казерте. Известие это сильно взволновало всех. Многие были в совершенном отчаянии. Неаполитанские офицеры, служившие при госпитале, говорят, тотчас же отправились к парикмахеру сбривать свои бородки. Калабрийские священники и несколько докторов решились защищаться. Из кладовых доставали оружие. Из больных, кто мог встать с постели, присоединились к ним же. Я сделал усилие над собою и слез с кровати; ходить я не мог, но придерживаясь правую руку за мебель, я твердо стоял на ногах и мог свободно действовать левою рукой. Мне зарядили мой револьвер и достали огромную саблю без ножен, с которой, впрочем, я решительно не знал что делать.

Мисс Уайт старалась успокоить публику и говорила, что в окрестностях Казерты видели несколько человек дезертиров из неаполи-

танского войска и на этом основывали, что туда идет целая колонна; что, не прорвав нашей передовой линии, бурбонцы никоим образом не могли пробраться в Казерту, что она сама видела, как королевские солдаты в беспорядке бежали из Санта-Марии, и что битва решилась совершенно в нашу пользу. Тем временем она велела выкинуть на окнах и дверях госпиталя черные флаги. Флагов не оказалось; на палки навязывались черные платки и галстухи. Слова ее, однако, мало успокаивали нас.

С передовой линии возвращались полки на отдых в Казерту. Победа действительно была наша, но за нее пришлось дорого заплатить. Батальон Сировиери потерял почти две трети своего состава. Из Маддалони возвращались еще в худшем положении. Сам Гарибальди был ранен.

Ночь наступила. Калабрийцы, возвращаясь на отдых после трудного дня, кричали и пели. При самом входе в Казерту, им вздумалось отсалютовать своего вождя холостыми выстрелами на воздух. Встревоженные жители окончательно убедились в том, что на них

нападают бурбонцы. Поднялась тревога. Только что вышедшие из боя солдаты опять взяли за ружья, но всё объяснилось к общему удовольствию.

XIII. 2-е октября

Наутро, число раненых в госпитале значительно увеличилось, и помещенья не хватало. Смотритель предложил тем, кто может лечиться на частной квартире, оставить госпиталь. У меня отвращение от больниц пуще, чем от казарм, и я решился воспользоваться случаем. В 11-м часу шел поезд в Неаполь, и я вместе с несколькими другими офицерами должен был отправляться туда. До станции железной дороги нам дали наемную коляску.

На мне не было рубашки, и сапога на правую ногу я надеть не мог, равно и шапки. Мисс Уайт дала мне свой бурнус и старую туфлю; сверх перевязок, бывших на голове, навязала еще какой-то белый капюшон, и я отправился в этом фантастическом костюме.

На станцию нас привезли – еще не было десяти часов, и в ожидании поезда усадили в тени на скамейках.

Вчерашние слухи о приближении бурбонцев оказались справедливыми. Колонна из 6 тысяч человек с артиллерией и конницей вышла из Капуи в последних числах сентября, с тем, чтоб обойдя Сант-Анджело и другие места, занятые войсками нашими, 1-го октября ворваться в Казерту и напасть на нас с тылу. Расчет был хорош, но неудачен; вместо 1-го колонна эта пришла 2-го и дорого поплатилась за это маленькое замедление. Накануне их видели близ Казерты, но, узнав о поражении своих, они не рискнули напасть на город тогда же, что для них было бы лучше, а спрятались в горы.

Нужда дает храбрость. С ними не было съестных припасов, к тому же через шпионов они узнали, что в Казерте войска мало; один из жителей взялся провести их скрытыми путями до самой площади. Наши со своей стороны, после вчерашней катастрофы с калабрийцами, нисколько не заботились об этом деле. Об опасности уже узнали тогда, когда войско входило в город. Забили тревогу. Измученные солдаты вновь выбежали строиться в ряды. Дали по телеграфу знать в Санту-Марию и от-

туда требовали новых сил. Гусары и гвиды по скакали по всем направлениям. Национальная гвардия наскоро выбегала. Адъютанты неслись стремглав, и лошади скользили по гладкой мостовой.

Я сидел на дебаркадере. Несколько человек, по преимуществу национальных гвардейцев из Сорренто и Нолы, ожидали поезда вместе с нами.

Небольшое число оставшихся в Казерте жителей, женщин и детей, второпях бежали к дебаркадере, захватив что могли из своего имущества. Я помню женщину лет тридцати, в трауре, с очень бледным и красивым лицом. Она вела под руку двух детей, тоже в черных платьицах. На лице ее было видно безвыходное, тяжелое горе; она шла скоро, но какою-то странною походкой, словно автомат; казалось, она ничего не видела и не слышала. За ней бойко шла нянька лет восемнадцати, с ребенком на руках. Ее черное платье с плерезами очень странно шло к красивому живому лицу. Она была очень испугана, горько плакала, целовала своего питомца, а потом вдруг начала смеяться, увидав толстого лавочника

в одежде национального гвардейца, запыхавшегося и выбивавшегося из сил, чтобы застегнуть не сходявшийся поверх шинели бандульер[126].

Мы были героями группы. Вокруг нас собралась целая толпа и требовала, чтобы мы рассказывали о вчерашнем деле, о котором носились очень смутные слухи. Товарищи мои, два раненые в руку, один в ногу, не заставляли себя просить, но так как они больше всего напирали на свои собственные подвиги, то возбуждали только ужас и сочувствие дам, а любопытству публики не удовлетворяли. Один из окружавших узнал меня и сказал присутствующим:

– Да вот мильбицева штаба офицер; от него всё можно узнать подробно.

Все бросились на меня, и никому не пришло в голову, что заставлять человека израненного и в лихорадке рассказывать скучные и мелочные подробности битвы было бесчеловечно. Видя, что отделаться было невозможно, я принялся рассказывать, но не успел дойти до половины, как у меня кровь хлынула изо рта. Десять рук мужских и дамских, и в

грязных, и в раздушенных перчатках протянулись ко мне. К сожалению, одного усердия, хотя бы и совершенно искреннего, не для всякого дела довольно, и их заботливость обо мне причинила мне несравненно больше вреда, нежели пользы. Черная женщина подошла к нам; вид ее внушал окружающим какое-то особенное уважение. Она протеснилась сквозь толпу меня мучивших и, забыв на минуту свое горе, стала поправлять мои перевязки.

– У вас есть мать? – спросила она едва слышным голосом и склоняясь надо мною.

Я отвечал утвердительно.

– Я не понимаю, как может человек забывать всё и добровольно мешаться в эти кровавые дела. Как бы ни были добры ваши намерения, но нужно очень злое сердце, чтобы принять на себя тяжелую обязанность мстителя. Молчите, – добавила она, заметив, что я хотел возражать, и тотчас же окончив дело, отошла в сторону.

Между тем пришел ожидаемый поезд. Все бросились было туда. *Guardia di sicurezza* делала отчаянные усилия, чтобы помешать это-

му наплыву, при котором многие рисковали быть задавленными. Принуждены были отодвинуть вагоны, чтобы дать время высадиться приехавшим солдатам.

Вдруг раздалось несколько выстрелов; за ними другие, и скоро открылся живой батальный огонь. Несколько человек вооруженных национальных гвардейцев и праздно стоявших гарибальдийцев побежали на площадь. Смятение увеличивалось; начались дикие сцены отчаяния, крики и рыдания.

Вновь пришедшие солдаты, не успев построиться, побежали, ободряемые своими офицерами. Нас усадили в пустой вагон. Поезд опять подошел к дебаркадеру. В одно мгновение ока, вагоны наполнились и переполнились; стояли, сидели друг у друга на коленах. Несколько гарибальдийцев, побросав ружья, взобрались туда же. Между ними было два-три офицера. Их приветствовали громким свистом. Не успевшие уйти со станции железной дороги солдаты настоятельно требовали, чтобы все не раненые вылезли из вагона; те старались спрятаться за пассажирами.

Несколько ружей просунулось в окна вагона и угрожающие голоса требовали возвращения трусов. Стража не могла ничего сделать. Объявили, что поезд не тронется с места, пока в нем будет хоть один не раненый военный. Почти силою высадили их оттуда. Перестрелка усиливалась; раздались два или три пушечные выстрела; наконец, машина свистнула, и тяжело нагруженный поезд покатился по рельсам.

Окончание этого дела я узнал уже потом. И тут, как всегда, дух грабежа и отсутствие дисциплины погубили бурбонское войско. Авангард их, почти не встретив сопротивления, дошел до площади и завладел дворцом, где помещались наши магазины. Вместо того, чтобы воспользоваться преимуществом своего положения и помогать своим, они принялись расхищать находившиеся там вещи. Наши небольшими кучками собрались на площади, готовясь дать нападавшим геройский отпор. Отряд кавалерии собирался атаковать их и открыть дорогу своим. Между тем, благодаря распорядительности старших гарибальдийских офицеров, были вывезены на пло-

щадь две небольшие пушки. Их скоро оставили против неприятельской конницы и дали залп. Бурбонцы с первого же раза поворотили и бросились бежать, потоптав шедшую за ними пехоту. Наши в беспорядке бросились на них. В узкой улице началась резня. Выходы были заперты, площади не давали; напрасно несчастные бросали ружья: офицеры не могли сдержать остервенившихся солдат. Вчерашние подвиги бурбонцев были еще слишком свежи в памяти; мстительные итальянцы не прощали их варварского обхождения с пленными. «Это не солдаты, а разбойники! Их всех нужно истребить!» – кричали они. «Вчера они живьем сожгли наших раненых!» – напоминал один. «Они переоделись в красные рубашки и воровским образом хотели завладеть нашим Гарибальди». И дорого платили несчастные за этот неудачный маскарад. Около часу продолжалась резня...

Больше двух тысяч пленных, артиллерия и лошади достались в наши руки. Несколько сот разбежались в горы и за ними отправились на охоту. Между пленными были два генерала и несколько полковников. Колонна

эта не имела главноначальствующего. Так печально окончилось это предприятие, на которое бурбонцы употребили столько сил и на которое так твердо надеялись.

В Неаполе, нас встретили плац-офицеры и в извозничьих колясках отвезли нас на наши квартиры. Город был украшен флагами. По улицам ходили толпы с криками и музыкой. За нашими колясками бежала толпа, крича: «*Viva Garibaldi*» и «Победители при Вольтурно».

Мой толстый амфитрион выбежал ко мне навстречу. Он похудел после нашего последнего свидания; жаловался на хлопоты и тревоги.

– Вчера и вообразить невозможно, что мы всё здесь вынесли, – рассказывал он, – говорили, что Джиджилло[127] непременно вернется; демонстрацию ему приготовили. Я уже собирался приготовить белое знамя с проклятой яичницей[128].

Реакционеры действительно были твердо убеждены, что дело 1-го октября решится в пользу бурбонцев. Со своей стороны, они приготавливали в самом Неаполе реакционное дви-

жение и распускали тревожные слухи. Национальная гвардия всю ночь стояла под ружьем, и многочисленные патрули обходили город по всем направлениям. Говорили, что Гарибальди убит еще при начале сражения, и что вместо его солдатам показывали его секретаря, который действительно напоминает его лицом и фигурой. Известию о победе доверяли мало; впрочем, и нас самих оно поразило неожиданностью.

На следующий день, приезд Гарибальди совершенно успокоил неаполитанцев. Некоторые из реакционеров сильно раскаялись потом, что, легко отдавшись надежде, сняли с себя маску.

Если бы Гарибальди 1-го октября имел хотя небольшой резерв, волонтеры в тот же вечер и без выстрела могли бы войти в Капую по следам бежавших ее защитников; но всё наше войско было до того измучено, что нельзя было и думать о преследовании. Мильбиц собрал всю бывшую в его распоряжении кавалерию, — не набралось восьмидесяти человек, — и приказал им прогнать рассыпанных там и сям бурбонских егерей. Те

прогнали их до самой крепости, но были встречены оттуда выстрелами и возвратились. Этим и кончился этот достопамятный день. На Сант-Анджело некоторые позиции были заняты бурбонцами и отбиты на следующий день.

Выгоды, доставленные нам победой, были очень значительны и вполне вознаграждали за все потери. Нечего и говорить о том, что бурбонцы совершенно оставили всякую попытку действовать наступательно. Капуя не могла держаться. У нас была порядочная артиллерия, отбитая в этот день у неприятеля, но бомбардировать было не в правилах Гарибальди. Принялись за устройство моста через Вольтурно по проекту прусского инженера Гофмана. Ждали прибытия Чальдини[129], и Неаполь общей подачей голосов приглашал нового короля Италии в свои стены.

XIV. Зуавы

Французская рота, оказавшая так много важных услуг во время сражения 1-го октября, с переменой характера военных действий, обратилась в летучий отряд и деятельно эксплуатировала окрестности Капуи, перерезывая ей все сообщения с Неаполем и Гаэтой. «*Sacre dié mille bombes!*[130]» – говорил мой старый приятель Бижасон своему питомцу, лежавшему с ним вместе в густой траве у большой дороги между Гаэтой и Капуей, – «такой сырой и холодной ночи не бывает, я думаю, на самом берегу Ледовитого моря. Проклятая фляжка совсем пуста, нечем согреться. Ты под счастливой звездой родился, *mon petit*[131], ты начинаешь военную карьеру с таким вождем, как Гарибальди, да согласишься, что во мне ты имеешь такого наставника, какого не всякому молодому солдату удалось встречать. Кстати, вот тебе нравоучение: когда идешь ночью в засаду, старайся достать фляжку больших размеров, а если можно бери две с собою, а то нечем тебе будет согреться. Теперь ты молод и тебе это ничего...

Эх, был и я таким когда-то!» Старый зуав хриплым голосом запел тихонько: «*je te souviens de ta jeunesse...*»[132].

– Да молчи ты, старый. Не можешь ни минуты спокойно пролежать. Этак мы всё проглядим, а Joseph[133] говорил, что тут можно славно заработать.

Ночь была темна, небо в тучах, порой лил мелкий дождик; ветер, сырой и резкий, пронзительно дул и шумел травой и листьями. Бижасон кряхтел и жаловался на колотье в правом боку, бережно окутав курок своего ружья полою серого плаща. Порой он обращался с очень назидательной речью к своему питомцу, но тот не слушал его, пристально вперив глаза в дорогу и внимательно к чему-то прислушиваясь.

Было далеко за полночь. Послышался шум колес и топот копыт по дороге; по временам раздавалось мычанье быков и бляенье баранов.

В Капуе давно терпели недостаток съестных припасов; сообщения были очень затруднительны. Не без больших трудов удалось наконец неаполитанским реакционерам со-

брать партию быков и мелкого рогатого скота, а также всяких припасов для кухни короля и довольно значительную сумму денег. Сопутствуемый королевскими драгунами, драгоценный поезд, минуя Капую, отправлялся в Гаэту, но чуткий нос французских зуавов пронюхал его, и богатая добыча воспламенила их предприимчивость.

Спокойно между тем плелась по мокрому шоссе рогатая вереница. Усатый вахмистр задумчиво ехал возле нагруженной дорогим вином и всякими сладостями фуры. Может быть, в воображении своем он уже заранее наслаждался жирным куском игриво бежавшего перед ним молодого буйвола. Но рок, злой рок, судил иное.

Испуганное стадо вдруг шарахнулось с дороги. Раздались выстрелы; шедший с длинной палкой пастух повалился на землю и завопил о пощаде. Неожиданно пробужденный от своей сладкой мечтательности вахмистр злобно вытянул саблю и готовился скакать сам не зная куда. В нем проснулась отчаянная храбрость голодного желудка, защищающего давно желанный кусок ростбифа. Но лошадь

вдруг взвилась на дыбы и несмотря на яростные удары шпор, не двигалась с места. На поводу повис мальчишка лет шестнадцати и замахнулся прикладом на всадника. Слева между тем к нему подбежала желтая сухая фигура в феске, с обритой головой, с трубкой в зубах. «*Descendez*»[134]! – закричал хриплый голос. Вахмистр не понимал по-французски. Боязливо оглядывался он по сторонам, но впотьмах ничего не видел. Он пробовал защищаться, бешено махал саблей, но всегда встречал ловко подставляемый ему штык. Между тем сильная рука ухватила его за ногу, и он, потеряв баланс, повалился в вязкую грязь. «*Avanti! Carroгна!*»[135] – кричал он, падая, но спутники его, не ожидая команды, разбежались кто куда мог. Как дикого зверя, спутали его по рукам и по ногам крепкой веревкой и оставили на земле.

Разогнав и переловив конвой, зуавы стали ловить разбежавшийся скот, обшаривать пастухов, у которых находили большие суммы денег и бумаги.

Бижасон, окончив ратоборство, чутьем нашел фуру с винами, вытащил оттуда бочонок

с фалернским, пробуровил его штыком и принялся переливать содержимое в свою глотку.

– Да оставь же мне хоть каплю, – просил его мальчик, – ты уже весь коньяк из моей фляжки выпил.

– Ты слишком еще молод пьянствовать, – говорил наставник, нехотя отрывая губы от бочонка, – знай, что ничто так не безобразит человека, как пьянство: оно делает диким зверем, а в солдате это преступление.

– Да брось же, бессовестный. Другие работают, а ты пьешь. Смотри, что товарищи скажут.

Это подействовало на зуава; он бросил бочонок и побежал помогать своим. Забрав пленных и гоня перед собою стадо, мирно возвращались они домой. Ленивые и постарше уселись на фуры. Молодые весело бежали.

Бижасон читал окружавшим какую-то новую теорию права войны, по которому вся добыча, за исключением части, следовавшей капитану, должна быть разделена между солдатами, пропорционально их возрасту и заслугам. Он сильно заботился об участи своего питомца, бежавшего как козленок, припры-

гивая и играя, возле угрюмо шествовавших быков.

Облака стали сгущаться на западе, восток побелел; в воздухе похолодало. Темные оливки и плакучие ивы определеннее стали вырисовываться на посветлевшем фоне и среди них, как привидение, выдвинулась белая стена кашины *della Paglia*.

XV. Венгерские гусары

Очень часто случается, что ошибку замечают и поправляют уже тогда, когда миновала опасность. Так было и здесь. Левый фланг наш уже доходил до самого моря, и неприятель очень удобно мог обойти нас, заняв Аверсу, где, как я уже сказал, не было даже пикета. Почему неприятель не воспользовался этой оплошностью во время сражения при Вольтурно – решить трудно; после же, Аверса не представляла никакой важности; несмотря на то, Мильбиц, заметивши ошибку в день битвы, решился исправить ее немедленно.

Людей у нас было слишком мало, и протянуть дальше линию было нельзя, не ослабив значительно центра, а потому в Аверсу был

послан конный патруль из венгерских гусар. Изъездив вдоль и поперек все окрестности, истомив лошадей и уставши сами, храбрые мадьяры разместились в стоявшей на конце города остерии и принялись запивать кислым аспирино[136] тревоги дня и вспоминать родной сливовец. Было поздно. В душной комнате сидели они на бочках и на соломе, громко разговаривали – венгерцы не умеют говорить тихо – и любезностью своей, светло-голубыми глазами и количеством выпитого вина, умели вполне приобрести благорасположение дородной хозяйки и молодой вертлявой прислужницы.

– *Accelenza*[137], – говорила она дюжему капралу, – так вы из далеких стран пришли сюда, чтобы с нашим Галубардой нас глупых защищать. Это хорошо, это очень хорошо с вашей стороны и я вам сказать не могу, как я вам за это благодарна.

– Ну пей: *Viva Garibaldi! Viva Ungheria!*[138] – говорил капрал ломаным языком.

Хозяйка пила не смущаясь и умильно поглядывала из-под длинных ресниц.

– Ну скажите мне, также ли хорошо в ва-

шей земле, как и у нас? Так ли там тепло как у нас? Есть ли у вас апельсины такие, как эти вот, и вино хорошо ли?

Венгерец, почти не говорившей по-итальянски, очень бойко объяснялся с хозяйкой и даже сумел сказать ей несколько комплиментов. Он никак не соглашался, чтобы в Неаполе что-нибудь было лучше, нежели в Венгрии, а хозяйка хотела во что бы то ни стало очаровать его красотами своей родины. Дело очень скоро дошло до тарантеллы. Она взяла старый бубен и со всевозможною грацией и увлечением пустилась прельщать подгулявших гусар своею народной пляскою.

Вдруг дверь отворилась с шумом, и испуганная служанка вбежала в комнату, неистово крича: «*Reggi, Reggi!*»

Почти следом за ней вошел гигантского роста вахмистр в белом плаще и бурбонской уланской шапке с саблей наголо. За ним вошли толпою несколько улан.

– *In nome di Francesco II arrendetevi!* (сдайтесь во имя короля), – сказал он басом, но тут же сшибленный с ног роландовским ударом сабли, повалился с разmozженной головой.

Венгерцы бросились к дверям. Уланы по обыкновению – к лошадям. Схватка началась не на шутку, но продолжалась недолго.

Сидевшие верхом уланы ускакали, сбросив лошадей, которых они держали в поводу. Из гусар одни боролись со спешившимися уланами, другие выскочили в окошко, взнуздали стоявших на дворе лошадей и отправились в погоню за бежавшими.

Через час в остерии всё было снова весело и шумно. Кричали и пели, хозяйка опять взялась за бубен. Пленные делили с победителями сладость ужина и попойки, пока не явился новый патруль сменить прежний.

Все бывшие в войске Гарибальди венгерцы должны были потом образовать гусарский полк. Но так как лошадей не хватало, то большая часть была сформирована в пеший легион, с тем, что при первой возможности добыть лошадей – их переведут в кавалерию. Страсть венгерцев к лошадям так сильна, и в них так развит дилетантизм к кавалерийской службе, что они, 1-го октября, во время схватки с драгунским полком королевы, старались только отбить лошадей. Они цеплялись за по-

водья и только холодным оружием убивали драгун, а не стреляли из опасения ранить лошадь.

Венгерцы были любимым войском Гарибальди; они сами любили его и считали своим народным героем.

После взятия Капуи, в Неаполе были торжественные крестины знамен венгерского легиона. Графиня делла Торре была крестной матерью. При этом случае высказалась вполне та симпатия, которая связывает итальянцев с венгерцами, сближенных общим врагом.

XVI. Журнал *Independente*[139]

Раны мои заживали скоро, тем не менее болезнь была мучительная и силы возвращались медленно. Однажды к вечеру, когда я только что очнулся от лихорадочного сна, полного бреда и тяжелых грез, дверь моей маленькой комнатки отворилась и вошла фигура до такой степени странная и фантастическая, что я не был вполне уверен наяву ли ее вижу, или во сне.

– Где здесь гарибальдийский офицер, которого сожгли бурбонцы? – спросил он громким басом и ломаным языком, подходя к моей постели.

Я пристально взглянул на пришедшего; он был одет черкесом. Большие черные глаза искрились под тенью папахи. Мохнатая бурка живописно группировалась вокруг его сухой и сильной особы.

– Меня зовут Василий, – начал он, не дождавшись ответа на свой первый вопрос. – Меня прислал к вам *мусье Дума* сказать вам, что он крепко жалеет о том, что с вами сделали.

Я всё меньше и меньше понимал в чем дело. С Дюма я вовсе не был знаком, и не мог придумать, каким способом этот великий муж узнал о моей участи и о моем существовании.

– Еще я пришел сказать вам, – продолжал Василий, – мусье Дума говорит: у вас скверная квартира и чтобы вы перешли к нему во дворец. У него хороший дворец и часовые стоят у дверей.

Я поручил благодарить Дюма за таковую любезность, и вместе с тем передать ему, что я не в состоянии пошевелиться на постели, следовательно не могу воспользоваться его благосклонным предложением, что если я встану с постели (в чем я начинал уже сомневаться), то явлюсь лично выразить ему свою признательность. Черкес не трогался с места.

– Еще велел сказать вам мусье Дума, чтобы вы сказали ему, что вы кушаете, и он хочет присылать вам обед каждый день.

Я насилу отделался от всех этих любезностей и от самого Василия, который строго приказал мне, своим невозмутимым голосом, чтоб я был здоров и явился тотчас же к мусье

Дума.

Неотвязчиво и аккуратно, как самая лихорадка, каждый день являлся ко мне Василий и строгим голосом, лаконически, передавал мне всякие любезности от своего пресловутого патрона.

Наконец в одно прекрасное утро, наскучив долгим лежанием в постели и почувствовав себя несколько сильнее, я потребовал коляску, и сопровождаемый некоторыми из своих приятелей, отправился подышать свежим воздухом. Был сырой, серый, но теплый день, и хотя сначала у меня закружилась голова, я с истинным наслаждением дышал свежим воздухом и любовался светом Божиим, от которого успел уже отвыкнуть в душной и темной комнатке, служившей мне больницей. И странно, доктора строго запрещали мне всякое движение и в особенности прогулку, а между тем к вечеру, прокатавшись целый день в довольно тряской извозчичьей коляске, я почувствовал себя сильнее прежнего.

Около 7 часов вечера я решил сделать визит Дюма, твердо убежденный, что на днях буду в состоянии оставить Неаполь и отпра-

виться на аванпосты, куда меня сильно влекли совершавшиеся там интересные события, – последние акты кровавой драмы.

Дюма жил на Кьятамоне в казенном дворце, отведенном ему по распоряжению диктатора. Положение его квартиры – одно из лучших в целом Неаполе. Дворец Кьятамоне построен на каменном утесе, входящем в море. Кругом отличный сад. Прямо напротив – Везувий и Портичи, несколько вправо – остров Капри, теряющийся в насыщенном морскими парами воздухе.

Многих, в том числе и меня, сильно интересовало, какую роль играл Дюма в неаполитанской революции? Что за странная дружба у него с Гарибальди, и какая вообще может быть дружба между этими двумя людьми, так мало имеющими между собою общего? Дюма, со своей стороны, мало заботился о разъяснении этих таинственных пунктов. Гарибальди еще меньше об этом думал, и конечно, очень многим не раз приходило в голову, что эта короткость есть не что иное, как создание пылкой фантазии французского романиста.

Но между тем были факты неоспоримые. Дюма имел в своих руках записки Гарибальди, даже некоторые из частных его корреспонденций, и был уполномочен по своему собственному выбору выпустить их в свет под своей же редакцией. Эта доверенность со стороны человека, каков диктатор Обеих Сицилий, была делом не совсем обыкновенным. Но тщетно я стремился проникнуть под таинственную занавесь. Я мог узнать только то, что Дюма на своей яхте перевез ружья из Марселя в Сицилию, для первой экспедиции, и еще оказал несколько услуг подобного же рода.

По взятии Палермо, Дюма тотчас же основал там свою резиденцию и объявил о выходе в свет нового журнала, под его редакцией на французском и итальянском языках. Гарибальди принял в этом деле искреннее участие, и во главе объявления напечатана была следующая коротенькая приписка от него:

«Журнал, который будет издаваться другом моим Дюма, под благородным названием *Independente*, будет верен своему имени и восстанет против меня первого, если когда-либо

я возвращусь с дороги, которой шел твердо до сих пор. Гарибальди».

Когда бурбонцы оставили Неаполь, Дюма переселился туда и, как я уже сказал, помещился в казенном дворце, отведенном ему диктаторским декретом.

Indipendente скоро вышел в свет. С первого же разу, в нем обнаружилось то направление, которому в Неаполе сочувствовали немногие. Дюма был редактором и вместе с тем почти исключительным сотрудником своего журнала. К удивлению, так называемые «*articoli di fondo*» [140] написаны были с толком, ясно, отчетливо, без фантазий и красноречивых разглагольствований, которых ожидали от автора *Монте-Кристо* и другого прочего. Журнал распродавался хорошо, и раз попав в оппозицию, Дюма держался исправно, хотя впрочем не совсем самостоятельно, и посторонняя поддержка не всегда ловко пряталась под обычный слог и манеру известного публике романиста. Все радикалы, всё, что было оппозиционного в Неаполе, приняли сторону *Indipendente*. Но зато министерские журналы вскинулись на него довольно усердно и с

большим озлоблением. Негодовали на Гарибальди за его дружбу с иностранцем, пришедшим учить их распоряжаться в их собственном доме. Восстали на то, что Дюма был назначен директором музеев и работ в Помпее и Геркулануме.

Дюма вдруг почувствовал себя политическим деятелем и как-то особенно стал гордиться этой враждой, конечно, не заслуженной им. Он принял какой-то несколько таинственный, но гордый и мужественный вид человека, гонимого за свои убеждения, предполагал врагов в тех, кто и не думал о нем, порою жаловался на злобу и несправедливость массы, но чаще с регуловским самоотвержением[141] готов был всё принести на жертву святому делу. Вообще он очень напоминал Флорианову басню о льве и собачке[142].

Против Дюма вооружены очень многие, а между тем личность эта, как тип своего рода, заслуживает некоторого внимания, и я намерен сказать о нем несколько слов. Не берусь судить его литературные произведения, с которыми, признаюсь, я очень мало знаком.

Дюма – француз с ног до головы, но не об-

ций избитый тип парижанина. Его когда-то интересовали наука и искусство, его и теперь интересуется человечество, его жизнь и благосостояние. Но желание рисоваться, играть роль, хотя бы и не выгодную, вот главная задача всей его жизни. Изю всего он берет именно то, что ему поможет к достижению главной его цели. Затем для него нет ни науки, ни искусства, ни человечества. Он пережил разные эпохи и постоянно добивался только того, чтобы произвести эффект, чем-нибудь отличиться. А потому он часто менял убеждения и для большего удобства привык не иметь никаких убеждений. Впрочем, нарядившись в какой-нибудь костюм, войдя раз в свою роль, он добросовестно выполняет её и принимает даже все её неудобства, со смирением и гордостью человека, страдающего за свои убеждения. В сущности, он добрый малый, готовый поделиться с приятелями кошельком и советом, лишь бы только воздавали ему должную по его заслугам честь.

Я застал редактора *Indipendente* в саду, в павильоне, за рабочим столиком. Он был в рубашке нараспашку, без сюртука и жилета,

и писал с большим вниманием. В отдалении сидело несколько человек, которые сто́ят то-го, чтобы познакомиться с ними читателя.

Лысый, седой старик, неаполитанец Бонуччи[143], бывший директор работ в Помпее и Геркулануме, сидел в темном уголке, сатирически поглядывая по сторонам и улыбаясь. Бонуччи – один из тех людей, которых убеждения, проекты, намерения остаются неизвестными даже для их искренних друзей. Они живут скромно и тихо, будничной жизнью, кажется и не задумываясь над предметами, выходящими из их колеи; в минуту какого-нибудь кризиса, они вдруг, с обычным своим спокойствием, принимают смелое и неожиданное решение и снова потом продолжают свой тихий образ жизни, как ни в чем не бывало, до другого подобного же случая. Бонуччи уживался с прежним правительством, бывал в почести и в тюрьме, но поведение его не подавало повода к подозрению. В последние уже годы узнали его за отъявленного либерала, а теперь он был деятельным, но невидимым двигателем *Indipendente* и оппозиции. В обращении он был до крайности

прост; по неаполитанской привычке, говорил самые лестные вещи всем и каждому, но сатирическая улыбка не сходила с его лица.

Сицилианец, генерал Кариссими[144], разговаривал с графом Арривабене[145], корреспондентом *Таймса*. Предметом разговора было описание битвы 1-го октября, которое приготавливалось для журнала *Indipendente*. Кариссими особенно сочувствовал этому журналу, и сочувствие его было не бесплодное, так как он очень бойко владеет пером и привык с давних пор к журнальным делам.

Увидев эту закулисную редакцию журнала в полном ее составе, я сразу узнал ту нравственную перемену, случившуюся в остроумном авторе многотомных сказок, которая поражала меня в статьях оппозиционного журнала.

Дюма, окончив писать, очень любезно обратился ко мне. Всё дело скоро разъяснилось. От меня потребовались некоторые подробности дела 1-го октября, и скоро мы принялись за работу.

Вошел молодой человек в гарибальдийском платье с пластырем на лбу и подвязан-

ной рукою. Он развязно подошел к столу и бросил на него шапку с полковничьими га-лунами. Дюма встретил его очень любезно. Оставили на время работу и принялись за разговор. Молодой полковник говорил очень хорошо по-французски, но с английским про-изношением.

Потом я узнал, что это англичанин Данн [146], один из немногих иностранцев, приня-мавших участие в Марсальской высадке. Данн – шотландец; личной своей храбростью и благоразумной распорядительностью он су-мел привязать к себе своих солдат. Гарибаль-ди уважал его как воина, но о прошедшем полковника носились неблагоприятные слу-хи.

Участь Данна была довольно печальная, а характер его, несмотря на многие темные сто-роны, невольно вызывал сочувствие. В нем было много рыцарской честности, горячей преданности делу, которому он взялся слу-жить; говорят только, что он не всегда был разборчив в предложении своих услуг, но с моей стороны я ничего не могу сказать ни в пользу, ни против этих слухов. 1-го октября

Данн особенно отличился своей спокойной храбростью. Вдвоем с молодым солдатом, не итальянцем, которого я здесь не могу назвать по имени, он вошел на батарею, занятую неприятелем и, отчаянно защищаясь, ждал там своих, нерешительно за ним следовавших. Вскоре после взятия Капуи, возвращаясь в шестом часу вечера в свою квартиру, он был ранен сзади pistolетным выстрелом. Доктора отчаивались за его жизнь, а полиция до сих пор не нашла убийцы.

Разговор шел о современных событиях. Данн принес известие о скором отъезде Гарибальди, о том, что бóльшая часть его декретов отменены и прочее, в том же роде.

– Ну, а с нами что намерены делать? – спросил его молодой гарибальдиец, скромно сидевший в темном углу, вставая и опираясь на костыль.

– С вами не знаю, – отвечал весело Данн, – а я уж заказал себе шарманку; сам нарисую себе все те сражения, в которых мне пришлось принимать участие, и буду разносить их по городам и по ярмаркам. Я человек бедный, живу жалованьем, а жалованье беру

только от тех, кому служу; здесь же я служил только одному Гарибальди и Италии.

XVII. Приезд короля и взятие Капуи

Бурбонцы долго не могли оправиться после неудачной попытки 1-го октября. Обстоятельства сложились таким образом, что Капуя и думать не могла продержаться долго. Передовые позиции гарибальдийцев были укреплены очень исправно; артиллерия увеличилась, и немецкий инженер Гофман строил плавучий мост через Вольтурно, чтобы гарибальдийцам переправиться, минуя Каяццо. Если бы бомбардировать, то крепость не продержалась бы и двух дней, но бомбардировка не была в правилах Гарибальди, хотя у него и были под рукой все средства. Я не стану подробно описывать всех военных действий, которых я не был свидетелем. Читатели знают ход их по журнальным известиям; да собственно действий военных и не было, за исключением аванпостных перестрелок и стычек. Это было время ожидания с обеих сторон.

Реакционеры, с своей стороны, не теряли надежды и постоянно смущали, на сколько

могли, народ распространением ложных слухов и демонстрациями исподтишка. Но народ на это не поддавался, за исключением прачек и нескольких торговок из Старого Города. Попы напрасно тратили лучшие цветы своего красноречия; напрасно принчипы[147] и маркизы сорили дукаты из кошельков своих, и без того отощавших. Неаполь с непоколебимой твердостью шел раз избранной дорогой. Положение вообще было тяжелое. В этой толпе, восторженно приветствовавшей рождение нового королевства, были матери убитых в последних битвах, отцы и братья молодых людей, насильно задерживаемых Бурбоном в Капуе и обреченных им на томительную жизнь осажденного города и на смерть. Тем не менее, всеобщий энтузиазм заставлял забывать всякие личные соображения и отношения; у всех одно было на уме и на сердце.

Всеобщая подача голосов единодушно провозгласила Виктора-Эммануила королем; она призывала своего избранника в пределы вновь присоединенного королевства.

Я сам не был свидетелем этого торжества, для которого неаполитанский муниципали-

тет не пощадил ни трудов, ни издержек; передавать слышанные мной подробности не считаю нужным. Замечу только, что изо всей воотирующей массы нашлось только два голоса за *нет*. подача голосов продолжалась несколько дней. Всё время город был убран флагами, а по вечерам великолепно иллюминирован. Процессия с музыкой и факелами целую ночь обходила улицы города. Казалось даже, и не спал никто в это время.

Торжествам и праздникам не было конца. Едва окончилась подача голосов, подвиги Чальдини в Умбрии и Маркиях[148] подали повод к ежедневным почти демонстрациям и триумфам. Ладзароне торжествовал.

Наконец, Анкона сдалась, Ламорисьер[149] покончил свою карьеру очень не блистательным эпилогом к своим красноречивым и заносчивым речам. Чальдини шел на соединение с Гарибальди. Король сам принял начальство над отдельным корпусом и хотел прежде порешить с Капуей, чтобы триумфатором войти в Неаполь.

Город был в каком-то тревожном ожидании. Хотя о возвращении бурбонцев не могло

быть и речи, а все чего-то боялись. Чальдини ждали как избавителя, а прекращения внутренних смут и безурядицы ждали от прибытия короля. Несколько раз уже в журналах появлялись известия о том, что Чальдини с войском в горах, где-то под самой Капуей. Мальчишки бегали с печатными афишками, кричали во всё горло; жители не раз затевали иллюминацию, но через несколько часов всё оказывалось журнальной уткой, и снова начиналось тревожное ожидание.

Я сидел у окна своей комнаты, в большом кресле. Внизу на улице народ бесновался, кша как муравейник. Мальчишки неистово кричали на своем неразборчивом наречии:

«*I prigionieri che la fatti il generate Cialdini*», и прибавляли на распев: «*un grano*». (Пленники, сделанные генералом Чальдини, – один grano).

Я не обратил особенного внимания на это новое изобретение ладзароновской промышленности. Вдруг дверь с треском и громом отворилась, и в комнату ввалилась дородная фигура моего хозяина. Красное лицо его обливалось потом и сияло радостью. В руке своей,

толстой и короткой наподобие этрусской колонны, держал он какую-то бумажку, и пыхтел и отдувался, как паровоз.

– *O, Cialdini arrivato!* – проговорил он наконец сквозь одышку и усиленное сопение: – *Positivo... Ufficiale!.. Dubbio arcuno non ci puo stare* (Чальдини приехал, положительно, официально... Не может быть ни малейшего сомнения), – вопил он, произнося по неаполитанской привычке *r* за *l*.

– Смотрите сами, – прибавил он, подавая мне напечатанный клочок бумажки. Это была телеграфическая депеша в нескольких строках, приказ Чальдини синдикку одного из окружающих Капую городков. Депеша заключалась следующими словами:

«*Faccio fucilar tutti i contadini che trovo armati*» (Расстреливаю всех мужиков, которых встречаю вооруженными.)

«Ого, подумал я, не первый день мы воюем, а расстреляли, сколько помнится, двух полицейских в Милаццо, но этот совсем иначе берется за дело».

Хозяин мой был в восторге.

– Ну, теперь велю выложить все вещи. Те-

перь спокойно можно оставаться в Неаполе. Ну, а прежде... нет, нет, что ни говорите. Спать спокойно не мог; всю ночь страшные сны грезятся. Вот хоть сегодня например... послушайте... вижу я будто сижу в кофейной *dell'Italia*, сижу и дрожу, а чего дрожу, не знаю... Ночь кругом темная, холодно, зги Божьей не видно, а Гарибальди сидит за столом и макароны ест, а макароны у него не макароны, а все стволы ружейные...

Долго еще достойный дон Орацио рассказывал свой несвязный бред, но я мало слушал его, и душевно был рад, когда он отправился восвояси, пожелав мне скорого выздоровления и поблагодарив в сотый раз меня и в моем лице всё гарибальдийское войско, за то что мы защитили его от гнева Франческо II, который, – не знаю, почему он это предполагал, – питает к нему личную ненависть.

Вскоре новые демонстрации возвестили прибытие короля и Чальдини с армией на аванпосты. На *Santo Tamaro*[150] у Гарибальди с королем было торжественное свидание. Предварительно еще много толковали об этом; говорили, что Гарибальди при этом слу-

чае будет сделан фельдмаршалом, несмотря на то что в итальянском войске фельдмаршалов нет. Свидание было коротко и просто. Гарибальди при виде короля снял шапку.

– *Salute al re d'Italia!* (Поклон королю Италии) – сказал он.

– *Salute al migliore dei suoi amici* (Поклон лучшему из его друзей), – был ответ.

Не стану распространяться о взятии Капуи. Это всем известно из газет. Расскажу вскользь, что король тотчас по прибытии своем предложил осажденным выгодную капитуляцию. Предложение его было отвергнуто. Тогда приступили к сооружению батарей. Работы росли с баснословной скоростью. Через несколько дней началась бомбардировка. Город не выдержал и нескольких часов. Выкинули белый флаг, прислали парламентаров и предлагали сдаться на капитуляцию. Им было отказано, король требовал, чтобы неприятели сдались безусловно военнопленными. Бурбонцы не соглашались; бомбардировка началась вновь, и к вечеру Капуя сдалась безо всяких условий. Войско было выведено оттуда со всеми военными почестями (все-

го было около 6 тысяч человек); офицерам предоставлено право перехода в итальянскую армию с сохранением чина, который они имели до начала войны; солдат разослали в северные города и разместили по полкам.

Оставалась еще Гаэта, но тут осада представляла слишком много трудности, а вмешательство французского адмирала[151] не позволяло воспользоваться всеми средствами. Отправив войска свои к *Molo*[152], король сам поехал в Неаполь, где его так долго ждали.

В первых числах ноября я начал выходить. В городе были необыкновенные приготовления к ожидаемому торжеству. Вся Толедская улица уставлена гипсовыми статуями победы. Их пустые внутри и обтянутые раскрашенным под мрамор холстом пьедесталы представляли ладзаронам даровую квартиру на ночь и убежище от дождей. По дороге от вокзала железной дороги к *Palazzo Reale* были настроены триумфальные арки с великолепными транспарантами. В Сан-Карло готовился торжественный спектакль, и здание театра было разукрашено на славу.

Наступил торжественный день. С утра на Толедо не было проезда. Жандармы и *guardia reale*[153] верхом задерживали экипажи. Балконы и окна, украшенные трехцветными флагами и лаврами, были полны народа. Мой домохозяин надел фрак покроя 1812 года, пожелтевший белый жилет и такой же галстук, завязанный огромным бантом. Он торжественно потирал руки и делал многозначительную мину. Всё вокруг носило отпечаток торжественности и чего-то праздничного.

Король въехал в одной коляске с Гарибальди. Несмотря на проливной дождь, их встретило несметное множество народа и национальная гвардия в полном параде. Торжественные восклицания гремели в воздухе.

Всё обошлось очень чинно, без всяких особенных происшествий и скандалов, но описывать подобного рода происшествия также скучно, как утомительно читать их. А потому я позволяю себе пропустить все подробности.

Вечером, в Сан-Карло произошла маленькая катастрофа, чуть не дошедшая до кровавой развязки. Несколько гарибальдийцев попробовали без билетов войти в залу спектак-

ля. Национальная гвардия непустила их. Произошла маленькая стычка. Толпа гарибальдийцев усилилась вновь пришедшими празднующими сотоварищами. Послали на гауптвахту за пьемонтским караулом. Пришло пол-роты солдат, и бросились было штыками разгонять толпу. Гарибальдийцы горячились. Народ принял их сторону. Не знаю, как уже дело уладилось без кровопролития.

На второй же день, по прибытии короля, стали ходить разные не благоприятные слухи о недружелюбных будто бы отношениях его к Гарибальди и еще много других, которых бóльшая часть к удивлению оправдались. Общий восторг несколько охладился, но Гарибальди по-прежнему остался кумиром неаполитанцев.

Несколько оплошностей со стороны распорядителей всех этих церемоний увеличили народное неудовольствие. В караул ко дворцу были назначены пьемонтские солдаты, и национальная гвардия очень оскорбилась этим. В кофейных и на улицах почтенные граждане, в новых щегольских мундирах, громко

кричали против такого недоверия к ним.

Из высшего круга, те немногие страстные охотники до придворных балов и выходов, остававшиеся тогда в Неаполе, были очень недовольны простым и добродушным обращением короля, его несколько суровым солдатским образом жизни, подававшим им плохие надежды.

Содержатели модных магазинов оплакивали невозвратную потерю всех этих Трапани, Кутрофьяно и прочих дуков[154], принчипов и маркизов.

Ладзароне был бы доволен, но его смущали слухами об оскорблении его героя, его кумира, и он злобно косился на окружающее.

XVIII. Санджованнара[155]

В одном из темных переулков Старого Города, в одном из тех кварталов, куда никогда почти не заглядывал никто *vestito di panno* (в суконном платье), находится знаменитая в истории Неаполя кантина[156] Санджованнары.

Я случайно познакомился с этой страшной гаморристикой[157], но я видел ее вне ее сферы, и она произвела на меня впечатление льва или тигра в тесной клетке зверинца Замма. Мне хотелось увидеть ее на просторе, в том кругу, где она пользовалась неограниченной властью турецкого падишаха.

С трудом отыскал я ее душный подвал и увидал совершенно новую женщину. Ее короткая и толстая талия не была стянута в узкое шелковое платье; красная фланелевая рубашка без пояса и не застегнутая, давала полный простор ее круглым формам. Юбка неведомого цвета была приподнята с одной стороны выше колена, передник грубого полотна забрызган вином и запачкан. Черные волосы были небрежно закрыты трехцветным платком. Огненные глаза бешено сверкали и каза-

лись готовы выскочить из орбит. Во всей ее фигуре было что-то дикое, но живое и живописное.

Обстановка как нельзя лучше гармонировала с главной фигурой. Низкая комната вроде подвала с серыми, обсыпавшимися стенами; несколько деревянных скамеек и столов по разным углам, бочки и бочонки, глиняные бутылки с винами, вот вся мебель этого странного приюта. Свет фантастическими, но резкими пятнами падал на всю, бывшую у меня перед глазами сцену, напоминавшую картину Караваджо.

Полунагой рыбак, с недопитым стаканом в руке, с бешеным энтузиазмом слушал энергичную речь Санджованнары. Лицо его разгоралось от вина и от волнения; черная борода и густые волосы окаймляли его энергичную и смуглую физиономию. Опершись на его плечо, бледный, худой и черноволосый *jettator*[158] слушал со вниманием, и жестами старался сдерживать шумные порывы своего товарища.

Не знаю впрочем, известно ли русским читателям, что такое *jettator*? Предполагая, что

нет, постараюсь в нескольких словах познакомить их с этой интересной особенностью Неаполя. *Jettatura* (сглаз) в Неаполе не просто суеверие необразованного класса народа. Это почти религиозный пункт. Я знал многих людей освободившихся от суеверия и предрассудков всякого рода, которые однако носили на цепочке часов коралловый рог – верное лекарство против *джеттатуры*, – и бледневших при вперенном на них ястребином взгляде *джеттатора*. *Джеттатура* в Неаполе представляет собой начало зла, как Св. Януарий есть представитель благого начала, и они в постоянной вражде между собою. Освобождение Неаполя от всякого внутреннего и иноземного ига, урожаи, недождливая зима, дешевизна съестных припасов – всё это дело Св. Януария, но землетрясения, извержения Везувия, голодные годы и бедствия всякого рода – продукт *джеттатуры*. Как общественная, так и частная жизнь каждого неаполитанца проходит под влиянием этих двух противоположных сил. *Джеттатура* сообщается через посредство *джеттаторов*; весь яд ее сосредоточен в их взгляде. В Неаполе издано

несколько сочинений о том, как узнавать *джеттатора*, и о средствах предостеречься от его злотворного влияния. Вообще *джеттатура* в жизни Неаполя играет очень важную роль, и о ней можно было бы сказать многое. Но здесь не место, и эти несколько слов сказаны мною лишь для того, чтоб объяснить странный термин, без которого я не сумел обойтись.

Возвращаюсь в кантину Санджованнары.

У ног рыбака сидел ладзароне лет тридцати, весь черный, в половину голый, в половину закрытый грязными лохмотьями. В руках у него была гитара; он бренчал на ней, и зажмурив глаза, тянул жестоким фальцетом следующий куплет, вновь сочиненный каким-то народным поэтом. Вот слова его песни, — я привожу их здесь, потому что в целом Неаполе песня эта пользуется особенной репутацией:

*Quant'è bella (bis) la bandiera
Bianca, rossa, verde aca,
Che dell'alba fino alla sera
La vedesti sventeggia.
E se tu non credi a me,*

*A Toledo va vede...
E se tu non credi a me,
Galubarda e nostro re[159].*

Окончив свой куплет и произнося по своему имя Гарибальди, певец снял свой фригийский колпак и бросив его на воздух, отчаянно закричал: «*Viva!*» – «*Viva! Viva Galubarda!*» раздалось во всех углах кантины.

Когда мои глаза несколько привыкли к темноте, я разглядел в темных углах кантины несколько человек самого низшего класса, тайно шептавшихся между собой и запищавших свою беседу кислым вином из жестяных стаканов. Над дверьми висел фотографический портрет Гарибальди, подаренный им самим хозяйке этого приюта.

Я вошел закутанный в плащ и в венгерской шапочке без военных отличий. Приход мой несколько смутил всю публику, и на меня обратились вовсе не благосклонные взгляды; только музыкант-ладзароне невозмутимо продолжал, зажмурив глаза, свою песню. Войдя, я снял плащ, и публика, увидав красную рубашку, успокоилась. Санджованнара очень близко подошла ко мне, пристально смотря

мне в лицо своими огромными глазами. Она узнала меня, и ей стало несколько неловко.

– *Accelenza!* – прокричала она очень сердитым голосом, хотя старалась сделать его по возможности любезным.

Мне самому стало очень неловко, и я посердился несколько на свою любознательность, которая очень нередко ставила меня в подобные этому неловкие положения. Чтобы как-нибудь выпутаться из него и придать своему посещению какой-нибудь смысл, я потребовал вина. Санджованна между тем молча рекомендовала меня своей публике. Кто был в Неаполе, тот знает эту манеру их говорить руками и глазами также ясно и понятно, как языком, а порою яснее и понятливее. Взгляды публики, не переставая выражать несколько недоверчивое изумление, становились всё менее и менее враждебны.

Я уселся на изломанном табурете возле рыбака и, когда мне принесли вино, налил стакан, и предложил его ему, как требовали законы неаполитанской вежливости, с простою фразой:

– *Volete favorire?*[160]

Рыбак помочил губы в моем стакане и предложил мне тотчас же свой. Пока я пил, он шепнул что-то на ухо *джеттатору*, – вероятно, каламбур на мой счет, потому что тот улыбнулся как-то совершенно особенно, а сам рыбак засмеялся довольно громко и бесцеремонно.

Я дерзко взглянул на него, стараясь показаться рассерженным. В подобных случаях начать разговор всего легче с небольшой ссоры, а мне во что бы то ни было хотелось расшевелить моих онемевших собеседников. Правда, что начать ссору с неаполитанским рыбаком, в заведении подобного рода, не совсем безопасно: у этих людей, по их же собственной поговорке, от губ до стилета нет и пяди расстояния. Но моя красная рубашка, а еще больше сабля и револьвер, служили ручательством, что к насилию со мною они сразу не прибегнут.

Рыбак встретил мой взгляд смелым, гордым и несколько насмешливым взглядом. Минуты две он молча и пристально смотрел мне прямо в глаза, потом стал как бы измерять наглядно всю мою фигуру. Украшенная

серебром рукоятка турецкой сабли обратила на себя его внимание.

– *Bella arma, bella arma* (хорошее оружие), – проговорил он, искоса поглядывая на нее.

– Говорят, в ваших руках не худое оружие и эта маленькая игрушка, – сказал я, указывая глазами на стилет, торчавшей у него из-за пазухи.

– Калабрийский, – проговорил он, снисходительно поглядывая на него.

– А мой, помните, был лучше, – сказала подошедшая Санджованнара, прося у меня посмотреть мою шашку.

Ладзароне между тем продолжал импровизировать на прежнюю тему, и прибрав наконец слова, громко откашлялся и обратился к публике, прося выслушать новый куплет. Вот он:

*O Francesco! o Gigillo
Ben dovesti tu scampa;
Tu sei troppo picirillo
Tu non saggi governa[161].*

Публика одобрила его произведение, и он принялся снова за гитару.

В это время вошел юноша, постоянно со-

провождавший Санджованнару, когда она выходила из своих владений. Он был встречен отчаянным потоком горячих ругательств со стороны своей возлюбленной. Она говорила так скоро и так коверкала слова, что я решительно не мог уловить смысл ее длинной речи. Жестикуляция была угрожающая. Юноша, впрочем, не обратил на это ни малейшего внимания; он лениво приветствовал всю публику общим поклоном, дошел до разостланной на полу циновки, сбросил верхнее платье, улегся на полу и принялся играть с кошкой, которая, как бесенок, выскочила из какого-то темного угла, и уселась у него на плече.

– А он уедет, – сказал флегматически юноша, когда Санджованнара умолкла.

– Кто он? – спросили его со всех сторон.

– Он, – отвечал тот, раскуривая сигару и отплеываясь.

– Вздор, ложь всё, – заметил рыбак.

– Вздор, ложь? – злобно вскричала Санджованнара, и правая рука ее невольно отправилась за пазуху разыскивать ручку стилета, – Дженнаро солгал что ли? Дженнаро не лжет, бездельники, и что говорит он, то правда. Не

верите теперь, как и мне прежде не верили, а как увидите, что всё выйдет на правду, так опять ко мне же ластиться станете...

Санджованнара говорила долго. Многих из ее слов я не понял, а из тех, которые понял, очень немногие годны для печати. А потому пропускаю ее длинную и грозную речь, относившуюся не прямо к рыбаку и исполненную непонятных для меня намеков.

Всё это для меня не представляло никакого особенного интереса, и притом я слишком чувствовал, что я здесь лишний; а потому, заплатив за вино (Санджованнара сначала вообще не хотела брать с меня денег, но потом взяла вчетверо), я вышел на улицу, несмотря на проливной дождь и на потоки, струившееся у меня под ногами.

Как ни интересовала меня личность Санджованнары, я не сумел завязать с нею более тесного знакомства. Биографических подробностей на ее счет удалось мне также узнать не много; но этими не многими поделюсь с читателями. Марианна Десклопис, теперешняя Санджованнара, дочь такой же Санджованнары, как она сама. Откуда пришло к ним

это прозвание неизвестно, но настоящее ее имя знают очень немногие из ее приближенных. Мать ее содержала кантину в том же самом месте, где и она. До семи или восьми лет Марианна жила на улице у дверей кантины, стараясь промыслить один или два грана; но куда шли добытые ею деньги, решить трудно, конечно, не на съестное, потому что до этого возраста она вместе с меньшими своими братьями и сестрами (которые потом пропали без вести) делила даровую пищу, молоко своей родительницы. Затем она стала помогать матери размешивать с водою кислое вино и разносить его невзыскательным посетителям, от которых иногда получала по грану или по два. Мать отбирала у нее эти деньги, и взамен их, щедро наделяла ее тычками и подзатыльниками, а она возвращала их в свою очередь ребятишкам, с которыми убегала играть и над которыми имела всегда преимущество не детской и не женской крепости мышц. Затем Марианна завела себе любовника, потом двух. Была ли она замужем, не знаю.

Когда она, схоронив мать, стала полной хо-

зьяйкой кантины, ее протезировал один из сильных гаморристов. От него она переняла искусство владеть стилетом и многие из тайн гаморры. Наскучив притязаниями своего покровителя, она выгнала его однажды после семейной сцены из своего жилища, и когда он вздумал сопротивляться, наделила его очень бойкою *стилетатою*. Свидетели этой сцены побледнели и почувствовали к молодой еще и красивой Санджованнаре глубокое уважение, не чуждое страха. Она сумела воспользоваться своим положением и довольно значительными кушем денег, оставленных ей матерью, составила себе довольно сильную партию и стала сразу сильной гаморристкою. Имея довольно частые столкновения с полицией и жандармами, она душевно возненавидела их, и представлявшаяся возможность от них отделаться увлекла ее сразу. Смелые подвиги Гарибальди в Сицилии пленили пылкую, хотя немолодую уже женщину. Пополнив цветами собственного воображения те немногие подробности, которые ей случилось узнать о народном герое, она, не видав его ни разу в жизни, сосредоточила на

нем одном весь запас любви, таившийся в ее сердце. С тех пор слова «родина», «Италия», «свобода» стали ей понятны; она не щадила ни денег, ни усилий для достижения предположенной цели, и, конечно, не менее самого Либорио Романо подготовила случившиеся события.

XIX. Падре Гавацци[162]

В какой-то из праздничных дней, в начале ноября, толпа народу собралась у церковной паперти близ *Largo del Castello*. Подобного рода народные собрания, с благочестивой целью прослушать проповедь красноречивого священника или монаха, в Неаполе не редкость. Но на этот раз сборище было слишком многолюдно, и в толпе виднелись личности, которые не посещают обыкновенно таких спектаклей.

Протеснившись к передним рядам, я увидел на паперти знакомую мне оригинальную фигуру падре Джованни Гавацци[163]. Он был в обыкновенном своем костюме: поповская сутана нараспашку, под ней гарибальдийская красная рубашка, ботфорты со шпорами, но

его черная курчавая голова была не покрыта.

Падре Гавацци был хорошо известен целому Неаполю, его знали даже и в окрестностях. Маленький, коренастый, с желтым как поморанец, грубым, но красивым лицом и с курчавой черной бородою, в костюме, описанном мною выше, и к которому порой он прибавлял кавалерийскую саблю, то верхом гарцевал он по улицам Казерты или Неаполя, то, куря сигару, расхаживал между застрельщиками в аванпостных перестрелках.

О нем ходили самые разнообразные слухи. Благочестивые старушки считали его антихристом, другие с ужасом говорили, что он сделался протестантом и хотел обратить Гарибальди в свою веру. Люди, не так строго придерживавшиеся догматов, отдавали справедливость взгляду его на обряды и на обязанности священника, но в то же время желали ему побольше воздержанности в словах и в образе жизни. Гарибальдийцы любили его как доброго товарища и притом человека, не трусящего в случае опасности. Все единодушно признавали в нем некоторую склонность порисоваться, пооригинальничать, но каж-

дый судил о ней сообразно со своими собственными взглядами и образом мыслей.

Происхождение и предыдущая жизнь падре Гавацци мне неизвестны, да и немногие в Неаполе были на этот счет сведущее меня, но что было то было, а быть молодцу не укора, и в католическом духовенстве, конечно, не по достоинствам ума и образования, падре Джованни занимает еще не последнее место.

Как вообще все его собратья, падре Гавацци любит проповедовать и по преимуществу перед многолюдной аудиторией. Не раз бывало, по примеру древних отцов церкви, он поучал народ под открытым небом в горах Калабрии и в сицилианских садах.

Не обладая ни особенным даром слова, ни силою и новизной мысли, падре Гавацци всегда очень исправно достигал своей цели, то есть слушатели, не зевая, внимали ему иногда по целым часам и никогда не расходились, не выразив громкими рукоплесканиями своего одобрения. Слог его был очень оригинален и порою умышленно прост и тревожен. Духовенство от чистого сердца ненавидело его, епископы запрещали ему говорить

проповеди и даже неоднократно предавали его анафеме, но падре Джованни не унывал и не падал духом. Не имея доступа к кафедре, он в подражание своему патрону проповедовал в садах и на папертях храмов, двери которых были для него заперты, но голос его редко был вопиющим в пустыне.

Когда я подошел к толпе слушателей, бóльшая часть которых смеялись гомерическим смехом, падре Гавацци был в полном разгаре своей проповеди. Темой его было отлучение от церкви папой неаполитанского народа.

«Итак, – говорил он, – падайте же во прах перед грозной десницею карающего вас отца. Плачьте и рвите на себе волосы и по примеру древних евреев терзайте свои одежды и посыпайте пеплом бесталанные головы. Святой отец не умолим. Что ему от того, что черти припекут тела ваши и души, что на железных сковородах будут жечь вас, напоминая вам ежеминутно тяжесть вашего греха, – греха, которого, в глазах первосвященника, не омывают и целые потоки слез из преданных им анафеме очей ваших? Грех ваш велик перед его

судом, и как ни кайтесь, ни терзайтесь, не простит он вам того, что вы отворили ворота вашего города вашему избавителю, что преданностью и покорностью встретили вы того, кто жизнь свою посвятил служению во благо вам. Во гневе своем святой отец забудет и то, что кто нашел отпертыми перед собою ворота Неаполя, тот мог подобно Самсону поднять их на рамена, если б они были заперты. Но взгляните на меня, каков я теперь перед вашими глазами, и вы увидите, что ни отлучение, ни гнев святейшего отца ни мало не повредили моему здоровью; даже аппетит мой от этого вовсе не пострадал, и я заел его грозную буллу отличным блюдом вкусных макарон *al sugo di pomodoro*[164], и запил всё вместе бутылкой хорошего Капри, которое вовсе не показалось мне кислым».

Эта смесь пасквиады[165] с проповедью произвела на слушателей самое разнообразное впечатление. Многие смеялись от души, другие оскорблялись, кто за папу, кто за достоинство проповедника. Но больше всего меня занимали старухи, которые во множестве сошлись послушать поучение падре Гавацци.

Они, как я уже сказал выше, считали его за антихриста и во всё продолжение его речи строили ужасные гримасы, вместе с тем крестились и отплеывались и неоднократно громким голосом начинали петь «*Sanctus*» [166]. Но мощная грудь проповедника одолевала все препятствия, и звучный, полный его голос покрывал собою всякий шум и смятение. Падре Гавацци уже не в первый раз говорил публично подобные речи, оскорбительные для папы, но до сих пор ему всё как-то благополучно сходило с рук. На этот раз, увлеченный успехом своих прежних проповедей, он зашел, может быть, несколько дальше чем следовало. Из публики, не одни только отчаянные приверженцы Рима были оскорблены его выходкой. Однако большинство, очень недовольное святым отцом, громко рукоплескало проповеднику, и он, довольный произведенным эффектом, гордо надел свою треугольную поповскую шляпу, и в сообществе нескольких гарибальдийских офицеров, громко смеясь и разговаривая, ушел от своей изумленной аудитории.

В войске Гарибальди был другой священ-

ник, которого неловко даже назвать после почтенного падре Джованни. Я говорю про отца Панталео, духовника Гарибальди[167]. Падре Панталео, сколько мне помнится, – родственник Уго Басси[168], расстрелянного австрийцами в 1849 году. Он далеко не пользовался той известностью, которой так усердно добивался Гавацци, но зато знавшие их обоих считали профанацией поставить два эти имени рядом. Даже из близких знакомых падре Панталео, немногие знали задушевные его убеждения и образ мыслей, но его простое и кроткое обращение, заслуги его как духовного и как гражданина, наконец, самая наружность его, внушали симпатию и уважение всем, приближавшимся к нему.

Он не носил бросающейся в глаза одежды, не гарцевал верхом по улицам, не являлся в кофейных, не проповедовал на площадях и вообще мало разглагольствовал, не носил шпор и сабли, но я не раз видел, как в очень опасные минуты падре Панталео был впереди и среди пуль и ядер хладнокровно делал старшим офицерам свои замечания, всегда дельные и охотно принимаемые. По отъезде

Гарибальди, падре Панталео совершенно скрылся из виду, и я не мог никакими средствами добиться, куда он отправился. Только разумеется не в Рим, где его отнюдь не ожидала кардинальская шапка.

Несколько дней после проповеди Гавацци во всех кружках Неаполя только и речи было, что о ней. Многие обвиняли его, другие старались оправдать его тем, что поступок папы, вызвавшей его проповедь, был сам очень неуместен и не ловок; остальные, наконец, просто не видели ничего дурного в его выходке. Во всяком случае, Гавацци славно достиг своей цели: о нем говорили, он произвел эффект.

Многих, знавших этого достойного падре, удивляло то, что после такого блистательного проявления своих ораторских способностей, он вдруг стал невидим. По этому поводу носились очень разнообразные, но более или менее неправдоподобные слухи. Дело скоро разъяснилось очень простым, но и очень печальным образом.

Как-то я сидел в кофейной, посреди неаполитанской молодежи. Разговор переходил от предмета к предмету, и наконец мы попали

на падре Гавацци. Всех очень удивляло его неожиданное исчезновение, которого никто не мог объяснить себе удовлетворительно. В это время вошел мой знакомец, Карлетто, которого я несколько бесцеремонно потревожил в ночь на 1-е октября. Карлетто, блистательно окончив свои военные подвиги, сшил себе очень эксцентрический наряд и с утра до ночи таскался по стогнам и гульбищам Неаполя. Он знал всё и всех, и разговор его был очень назидателен для тех, кто не читал *Pungolo* и *Официальной газеты*[169]. За разрешением загадки все обратились к нему. Карлетто сделал значительную мину; по всему видно было, что он сообщит важную новость.

Падре Гавацци арестован, по распоряжению нового правительства, вечером того дня, в который он говорил свою проповедь. «*Che porcheria!*» (что за свинство) прибавил он в виде комментария.

Известие это скоро вполне подтвердилось.

XX. Наньелла

Я узнал Наньеллу в очень печальную эпоху ее жизни. Мое знакомство с нею продолжалось лишь несколько дней, но грациозная личность эта надолго останется у меня в памяти, и я не могу обойти ее в моих записках, хотя она ни прямо, ни косвенно не относится к гарибальдийскому корпусу.

Это было вечером очень поздно. Комната была так омеблирована, как обыкновенно меблируются *chambres garnies*[170] средней руки. Старая *tatna*[171] оставила нас вдвоем, ушла неслышными шагами, не скрипнув дверью и улыбнувшись отвратительной улыбкой.

Наньелла сидела на диване, подобрала под себя ножки; в руках у нее была гитара, которой она только что аккомпанировала свои дикие сицилианские песни. Ее золотистые волосы вились в локонах вокруг живого, грациозного лица, разгоревшегося от веселости и от выпитого вина. Но в ней очень мало было детского. Правильный нос, тонкие, резко обрисованные, смелые и подвижные ноздри,

черные брови, округло склонявшиеся к внутреннему углу черных, исполненных жизни и веселости глаз, – всё дышало какой-то чисто женской энергией и силой, не чуждой неги и грации. Наньелла была палермитанка, что на первый же взгляд объявляли ее белокурые волосы и ее произношение.

Она весь вечер была шумно и непритворно весела, потом старалась быть веселой, наконец, старания ее перестали быть удачными. Ее одолело какое-то озлобление.

Первое свидание наше мало сблизило нас. Но миловидное личико Наньеллы, ее смелое, прямое, несколько даже грубое обращение и многие подмеченные мной налету черты ее характера сильно заинтересовали меня в ее пользу. Я видел в ней какую-то женскую, чисто женскую силу, без мужской шероховатости, но вполне чуждую всякого нервного сентиментального элемента. Она бойко, прямо относилась к жизни, но я видел, что беспощадная жизнь уже успела надломить ее и притом надломить сильно, безысправно.

Я ясно видел, что, несмотря на ее семнадцать лет, ни на юную страстную натуру, На-

Наньелла отжила свое, – и хотя в общих чертах не трудно было угадать ее роман, мне однако хотелось, чтоб она сама рассказала мне свою жизнь. Нечего и говорить, что во мне не было и тени любви к этой женщине, но, почему не знаю, мне хотелось добиться ее доверенности, заставить ее отбросить в отношении ко мне ее холодный, гордый тон, под которым я не предполагал уже страстных порывов, но видел страдающую женскую душу, и душа эта была мне не чужда.

Заслужить доверенность женщины, как бы ни была она подозрительна, если только в ней есть еще любящая душа и притом подавленная тяжелым горем, из-под которого сама она выйти не в состоянии – дело не невозможное.

Едва Наньелла заметила, что не пошлое участие, не простое желание заставить сентиментальничать хорошенькую женщину привлекало меня к ней, она легко поддалась на мой вызов.

– Ты кажется думаешь, что и меня, как сотню других дур завлекли в этот дом обманом, и что эта старая ведьма задерживает меня те-

перь хитростью, впутав в долги? – сказала она мне как-то. – Напрасно. Наньеллу не обмануть легко, да еще никто и никогда меня до сих пор не обманывал, разве только я сама.

Она говорила спокойно, но в ней и следа уже не было прежней веселости. Однако же, через четверть часа, она сделала какую-то самую пошлую детскую шалость и расхохоталась ей от души. Потом взяла гитару и начала петь разгульные неаполитанские баркаролы и дикие сицилианские песни; затем она потребовала вина. Она пила очень много, но никогда не пьянела; это меня удивляло, тем больше, что южные итальянцы вовсе не мастера пить и совершенно теряют голову от двух-трех стаканов всякого вина.

Мало-помалу Наньелла перестала относиться ко мне со своей оскорбительной, гордой холодностью, и прежде нежели мы расстались, она рассказала мне свою историю. Я не могу теперь припомнить ее выражений, хотя ее оригинальная, совершенно безыскусственная манера рассказывать придавала много интереса этой ничем не замечательной и простой исповеди.

Наньелла была дочь какого-то бедного па-
лермитанского негоцианта. Ее воспитывали в
страхе Божиим, то есть не учили грамоте, и по
праздникам мать водила ее в церковь. Насчет
остального Наньелла пользовалась полной
свободой, которая предоставляется молодым
девушкам в тех странах. Она одна или с по-
другами выходила гулять во всякое время дня
и ночи, посещала дешевые театры, когда в
кармане заводился лишний карлин, и, конечно,
не долго оставалась без *cavaliere servente*
[172]. В Италии это священный обычай, и про-
тив него не восстают даже самые суровые ро-
дители. Едва девочка выходит из того возрас-
та, когда еще она не чувствует себя женщи-
ной, к ней непременно подладится, в каче-
стве *ganzo*[173], какой-нибудь ловкий юноша,
часто даже вовсе незнакомый с ее родными.
Он сопутствует ее везде, в театр, на гулянье, в
кофейную по праздникам. Очень редко быва-
ет, чтоб этот *ganzo* становился потом ее му-
жем; обыкновенно и после супружества он
остается тем же, чем был, иногда делается до-
машним другом.

На долю Наньеллы выпал красивый юно-

ша несколькими годами старше ее, неаполитанец, но живший в Палермо в качестве старшего подмастерья у дяди своего, ювелира. Дружба его с Наньеллой продолжалась спокойно в течение нескольких лет. Наньелла росла и хорошела; вместе с годами, в ней росло какое-то необъяснимое ничем в ее воспитании сознание чувства собственного достоинства и прав женщины, – сознание впрочем очень смутное и слишком смешенное с природной строптивостью и высокомерием ее характера.

В один прекрасный день Наньелле было объявлено, что она выходит замуж за сорокалетнего оружейника, которого она очень редко встречала прежде, и, конечно, не думала, не гадала видеть в нем когда-нибудь своего мужа. Наньелла приняла это известие так, как если б ей сказали, что через несколько дней с ней сделается лихорадка: в ней что-то больно зашевелилось, ей стало тяжело, но ей и в голову не пришло восстать против этого, видеть в этом насилие и нарушение своих прав, за которые она всегда довольно бойко стояла. Вечером она объявила об этом своему

вздыхателю, который довольно исправно разыграл приличную случаю патетическую сцену.

В назначенное время Навьелла стала женою оружейника. Тут она сразу почувствовала все, что было возмутительного и оскорбляющего природу в этом случае, недавно казавшемся ей простым и обыкновенным. Оружейник был не дурной человек, простой и безо всякого образования, скорее добрый, чем злой, и хотя вовсе не влюбленный в Наньеллу, но по врожденному сильным и здоровым людям чувству не легко решавшийся прибегнуть к грубому насилию и побоям. Наньелла уважала его, как человека, не питала к нему никакой вражды, но чувствовала непреодолимое отвращение к нему, как к мужу! Через несколько часов после венца, у молодых начались ссоры и семейные сцены. Оружейник сначала терпеливо переносил капризы красавицы и подчинялся им. Но родители Наньеллы употребляли все зависевшие от них средства, чтобы сломить упорный характер своей дочери и во всем покорить ее воле мужа и семейным обязанностям. К сожалению, многие

из средств, бывших в их руках, пришлось не по вкусу Наньелле, и однажды она очень невежливо выгнала из дому свою мать, которая вздумала было распорядиться с нею слишком по-домашнему. Событие это возмутило весь квартал против Наньеллы, которую и до этого еще многие очень недолюбливали за ее строптивый нрав и по многим другим причинам.

Муж ее, со своей стороны, очень возмутился этим поступком. Подстрекаемый родителями своей жены, он изменил с нею свое кроткое и добродушное обращение и хотя не обратился к насилию, но стал подозрителен и оскорблял ее на каждом шагу. Молодая женщина держалась твердо. Подозрение оружейника очень естественно пало на ее бывшего *cavaliere servente*. Грубостью вызывалась грубость, и Наньелла с мужем вскоре стали заклятыми врагами. Сидя одна почти целый день, постоянно тревожимая тяжелыми сценами с мужем, уверявшим ее, что она влюблена в ювелира, Наньелла поверила ему наконец, и тоска ее приняла определенный характер. Она вообразила себя влюбленной, раз-

лученной с своим любовником, и употребила всю свою силу и энергию на то, чтобы завести с ним сношения. Это сделать было не очень трудно, тем больше что ювелир в качестве влюбленного проводил всё свое время под ее окнами и на улице близ ее дома.

Наньелла очень любила детей, и в счастливые дни своей жизни успела завести себе много маленьких приятелей, дерзких и на всё готовых, между уличными мальчишками. Один из них, мальчик лет тринадцати, – сын сапожника, державшего походную лавчонку под воротами дома, где жила Наньелла, – бойкий и развитой не по летам, нашел как-то способ пробраться в ее комнату и навещал ее часто в дни ее заключения. Его Наньелла избрала посредником. Ювелир, вне себя от восторга, решился увезти ее от мужа в Неаполь, где у него были родственники. Смелые планы были вообще в характере Наньеллы, и она очень охотно согласилась на этот.

Скоро всё было приготовлено к побегу. Но почти в самый час исполнения этого отважного плана, и когда Наньелла ждала любовника, к ней вошел муж, который узнал обо

всем неизвестно каким способом. Между ними произошла дикая сцена. Он ударил ее, она в отчаянии ранила его довольно сильно его же собственным стилетом и быстро убежала из дому.

Раз отдавшись своему любовнику, Наньелла полюбила его со всею страстностью своей природы. Ювелир был очень хорошо принят в Неаполе своими родными, имевшими на него, как оказалось, матримониальные виды. Первое время всё шло, впрочем, хорошо. Родные не отказывали ему в деньгах; он содержал на них Наньеллу, существования которой те и не подозревали.

Положение это, впрочем, не могло долго продолжаться, и не от внешних обстоятельств оно должно было упасть, а от нравственного неравенства этих двух личностей. Она любила его, как страстная, полная сил и жизни женщина; он видел в ней только простую любовницу; все их отношения были для него не больше, не меньше, как пошлая связь.

Подготовленная ему заботливыми родными невеста была слишком лакомый кусок, и он вовсе не думал от нее отказываться, тем

более что этим способом он рисковал бы поспориться с родными и лишиться всяких средств к существованию. Между тем он не хотел также бросить Наньеллу. Терзаемый в течение нескольких дней этой борьбой, он вдруг пришел к решению, показавшемуся ему необыкновенно умным и светлым. Он тотчас же побежал сообщить его Наньелле, от которой тщательно скрывал до тех пор предположение о своей женитьбе. Он очень красноречиво рассказал ей, как богата его невеста, сколько у него будет денег и как нарядит он свою ненаглядную Наньеллу. Придя в восторг от собственных планов, он бросился было обнимать свою возлюбленную, но та встретила его порыв сильным ударом подсвечника в голову. С тех пор Наньелла не пускала его себе на глаза. Несколько дней провела она в каком-то усыплении отчаяния, потом очнулась без денег, без знакомых, одна в чужом городе.

Наньелла наскоро оделась, вышла из дому, и добралась до самого конца *Riviera di Chiaia* [174] к морю. Она взошла на утес, и оттуда хотела броситься в море. Но в семнадцать лет

нелегко умирают. Она приостановилась, потом задумалась, потом заплакала, и вечером отправилась домой, измученная голодом и страданиями...

XXI. Штаб-квартира

После взятия Капуи, гарибальдийские войска пользовались совершенной свободой; все военные действия сосредоточились в руках пьемонтцев. Была попытка организовать правильнее два вновь сформированные в Неаполе полка, один морской пехоты, а другой горцев Везувия, но попытка эта совершенно не удалась, и первый из них раскассировали.

Кстати замечу, что два этих полка были организованы по проекту диктатора на особых основаниях, которые не понравились новому правительству. На этот раз, впрочем, винить его не за что, то есть беспорядки были большие, а надежда на их прекращение плоха. Гарибальди сам не имел времени заняться формировкой этих полков, да притом и формировали их на скорую руку. Оба эти полка состояли из волонтеров, как и всё гарибаль-

дийское войско. Обязательного срока службы не было, и притом организованные почти в то время, когда уже оканчивались военные действия, они не прошли через ту школу огня и опасностей, которая формирует войска подобного рода. Вместе с тем они питали общее всем волонтерам отвращение от учений и фрунтовых упражнений. На основании всего этого правительство обрадовалось первой возможности раскассировать хоть один из этих полков, не оскорбляя уважаемого ими вождя. Та же участь постигла и эскадрон *Diavoli Rossi* (красных чертей) вновь сформированной в Палермо кавалерии.

Горцы Везувия между тем назначены были в пополнение бригады Мильбица, сильно ослабленной многочисленными потерями.

Мильбиц с небольшой частью своего штаба оставался еще в Санта-Марии и, по выздоровлении своем, я должен был отправиться туда, собственно только для того, чтоб исполнить пустую формальность. Между тем я успел настолько уже втянуться в довольно пошлую и праздную неаполитанскую жизнь, что мне нелегко было расстаться с нею. Я от-

кладывал со дня на день свой отъезд и дождался того, что поезда железной дороги между Капуей и Неаполем были прекращены по распоряжению правительства. Эта неожиданная мера вызвала множество толков; каждый по-своему объяснял причины, побудившие правительство принять ее. В приказе наместника по этому поводу было сказано, что поезда прекращаются вследствие непомерного стечения пассажиров и неизбежных при таком стечении беспорядков. Конечно, никто не поверил этому предлогу, но еще недоброжелательнее прежнего стали поглядывать на королевских карабинеров, важно расхаживавших в плащах и треуголках.

Журналы по-своему толковали это новое распоряжение. Министерские объясняли его стечением очень большого числа военнопленных, которых действительно большими партиями перевозили из Капуи в Неаполь, где их ожидали военные пароходы. Оппозиционные вовсе не объясняли причин, побудивших правительство решиться на эту меру, но яростно восставали против самого решения.

Более всего распространено было мнение, что сообщения прекращены для предотвращения наплыва бурбонских эмигрантов. В подобном случае трудно добиться толку посреди таких разнообразных мнений, а немногие, знавшие истину, не высказывали ее.

Знаю только то, что едва ли в какое-либо другое время распоряжение это могло показаться мне так стеснительным и неприятным, как тогда. Мне, во что бы то ни стало, нужно было ехать в Санта-Марию; сесть на лошадь я еще не был в состоянии, приходилось непременно брать веттуруина[175], а в Италии это великое несчастье, и я обыкновенно пускал в ход все мои спекулятивные способности, чтобы только избежать его, и до тех пор мне это удавалось. Скрепя сердце и собрав весь запас своего хладнокровия, я отправился на *Largo del Castello* нанять коляску. В моих воспоминаниях эта критическая минута занимает место наряду с волнениями дня битвы при Вольтурно. В глазах моих эти алчные хищники прочли намерение нанять кароццу[176], обступили меня со всех сторон, закричали, заволновались, и кончилось дело

тем, что я вскочил в худшую из стоявших передо мною колясок, несмотря на то что ее возница потребовал от меня чуть ли не больше прочих.

Едва мы проехали верст пять, взобравшись на *Carodichino*[177], веттурин остановил свою клячу, слез с козел, вытащил из-под сиденья молоток и клещи и принялся яростно уколачивать одно из колес, жалобно визжавшее всю дорогу. Операция эта повторялась раз пять или шесть; наконец почти на полпути, под самую Аверсой, ось лопнула, и я ткнулся лбом в козлы. Веттурин вскочил на ноги и, несмотря на мои отчаянные возгласы, спокойно процедил *accidente*[178], неизвестно к кому относившийся.

Пришлось пересаживаться в *corricolo* (переложение русской перекладной на итальянские нравы) и в этом неудобном экипаже добраться до Аверсы. Оттуда оставалось еще добрые два часа езды до Санта-Марии. Веттурин пешком явился туда же, через полчаса после меня. Часа через полтора найдена была какая-то таратайка, еще неудобнее, и я отправился в сообществе двух других гарибальдий-

ских офицеров и еще одного очень черного офицера.

Часа в 4 после обеда мы были в Санта-Марии.

Большая квартира Мильбица, так недавно еще шумная и полная веселых юношей и крикливых офицеров, теперь была пуста и казалась необитаемой. Швейцарец-денщик лежал на шинели, покуривая сигару, но не забыл похвастаться передо мной сержантскими галунами, заслуженными им уже во время моего отсутствия.

Мильбиц медленными шагами прохаживался по опустевшим комнатам, задумчиво покуривая и выпуская кольцами дым. Фигура его никогда не была особенно воинственна, а тут каждый мускул его сухого лица выражал успокоение и отставку.

Я несколько церемонно подошел к нему, но он с добродушием старосветского помещика протянул мне руку и пригласил садиться.

– Вы уже и поправились, – сказал он, и принялся расспрашивать меня о Неаполе, и потом с болтливостью старика обо всяких других предметах.

– А что Бизио?[179] – спросил он меня.

Я забыл уведомить читателя, что генерал Нино Бизио, или Биксио за несколько месяцев перед тем жестоко поплатился за природную вспыльчивость и бешеную строптивость своего нрава. В сообществе нескольких старших гарибальдийских офицеров, горячо о чем-то с ними споря, он объезжал верхом аванпосты. Вдруг лошадь остановилась и заупрямилась. Бешеный наездник, не посмотрев ей под ноги, свирепо вонзил ей шпоры в бока. Лошадь взвилась на дыбы, и отчаянно бросилась вперед. Под ногами ее была широкая яма, в которую она свалилась вместе с своим тучным всадником, сломавшим себе руку и ногу. Положение Биксио само по себе было опасно; его полнокровие и воспалительность его организма приводили докторов в отчаяние. Но во время описываемого мною свидания с Мильбицем, здоровье Биксио уже поправлялось, и он был вне всякой опасности.

Биксио, в кругу гарибальдийских генералов, занимал очень почетное место. Его отчаянная храбрость и устойчивость перед врагом

составили ему громкое имя. Нисколько не подвергая сомнению личные достоинства Нино Биксио, замечу, что он вполне был чужд тех положительных и основных качеств боевого генерала, которыми отличался, например, Мильбиц. Биксио умел искусно возбудить энтузиазм своих солдат, был всегда на самых опасных пунктах и со своими генуэзскими карабинерами делал чудеса; но правильно сообразить план сражения, рассчитать силы неприятеля, предусмотреть движения его, – это не его дело. Кроме того, генерал этот имел одну слабую сторону, бросавшую сильную тень на его блистательные достоинства: он был до свирепости вспыльчив и в минуты опасности неукротимо груб и жесток. Не раз оскорблял он лучших из своих офицеров. В деле при Реджо, скомандовав атаку в штыки, Биксио увидел молодого солдата, спокойно стоявшего на месте, тогда как другие быстро бросились вперед.

– А, ты нейдешь! Ты трусишь! – закричал генерал.

– Я не могу идти, потому что у меня ружье без штыка и испорчено, – спокойно отвечал

юноша.

Раздраженный Биксио, не выслушав его ответа, выстрелил ему в лоб из своего револьвера.

В другой раз, во время битвы при Маддалони 1-го октября, возле Биксио проносили израненного бурбонского офицера. Страдая от ран и от жажды, он попросил пить. «*Eccoti la tua bibita*» (вот тебе твой напиток), – бешено закричал Биксио, выстрелив ему в рот.

Теперь, говорят, неукротимый предводитель гарибальдийцев стал очень кротким пьемонтским генералом и заменил общими генеральскими привычками бешеные вспышки своего сумасшедшего нрава. Он заседал в парламенте, где говорит очень оригинальные речи, но не всегда в защиту своих сослуживцев.

Такая же метаморфоза произошла и в сотоварище его Тюрре, из отчаянного приверженца и друга Гарибальди ставшего посредником между им и министерством. Тюрр недавно обиделся, что один из журналов назвал его генералом волонтеров и торжественно объявил через журналы, что теперь он генерал ита-

льянского войска.

К вечеру Мильбиц отпустил меня, сказав, что я могу ехать обратно в Неаполь, куда и он намерен был надолго переселиться. Я поспешил воспользоваться его позволением, и в ту же ночь возвратился на свою квартиру в Неаполе.

Ночь была лунная, сырая и холодная. Живописная дорога казалась еще живописнее, при бледном освещении осеннего месяца. Дорогой я успел порядочно продрогнуть, так как не позаботился взять свой теплый плащ. Лежа в тряской таратайке в каком-то лихорадочном полусне, я видел чудные образы, которых однако же не буду передавать читателю, так как фантазия моя носилась очень далеко от совершавшихся тогда событий и от той жизни, которой я жил в то время.

Мильбица потом я видел еще в Неаполе. Он совершенно преобразился в мирного гражданина и наслаждался семейным благополучием и спокойствием, насколько позволяла ему сожительница его, сорокалетняя мальтийка с огненными глазами и античным профилем. Потом он уехал в какой-то из ма-

леньких городов Пьемонта ожидать новых случайностей или смерти. Что вынес он из всей этой трудной кампании? Сознание, что спас Неаполь, и лишнюю рану.

XXII. Дженнаро

Приехав из Санта-Марии, я тотчас же слег в постель и на следующий день не в состоянии был оставить ее. У меня горела голова, я не в состоянии был ни читать, ни рисовать, а потому курил и предавался самым сумасбродным мечтаниям возбужденного лихорадкой воображения. Нравственное мое состояние имело однако же определенный характер. Я слишком надолго был выдвинут из обычного круга своих занятий и своей жизни. Пока я весь был поглощен окружавшей меня деятельностью, в которой и сам принимал участие, мне не было времени предаваться самозерцанию, фантазировать, мечтать и философствовать, – а мы, северные люди, большие до этого охотники. Итальянец живет, прямо принимает факт, иногда рассчитывает, а рассуждает редко, и то вызванный необходимостью. А мы грешные... да что и говорить!

Едва отсутствие занятий и состояние моего здоровья позволили мне снова погрузиться в родную мне область, я почувствовал, что мне чего-то сильно не доставало. Мало-помалу мной овладела своего рода болезнь, которую я не могу назвать иначе, как тоской *по мольберту*. Мне стало жаль оставленного мной образа жизни, меня тянуло в мастерскую, подышать не совсем свежим, но по мне ароматическим ее воздухом.

В Неаполе мало художников, а художественной жизни вовсе нет, хотя для самостоятельной артистической деятельности трудно прибрать лучшее место. Едва выздоровев, я завел знакомства в кругу неаполитанских живописцев, стал посещать их студии и только разжигал в себе не умолкавшую потребность.

Неаполитанские живописцы, одни во всей Италии, сохранили предания старого времени. Они ведут жизнь рабочую, проводят целые дни в своих студиях. У кого не хватает искренней любви к искусству, всегда найдется достаточный запас зависти, соревнования и желания добиться известности. Они дичатся,

и сойтись с ними дело не легкое.

В числе моих обыкновенных знакомых не было ни одного, сколько-нибудь сочувствовавшего мне в этом отношении. Заговорите о музыке с любым неаполитанцем, и вы всегда найдете в нем горячего, страстного и толкового дилетанта. А живопись – для них мертвая буква.

Я лежал, преданный всем этим соображениям. Вдруг в коридоре послышались твердые шаги, и звучный баритон напевал следующие стихи из неаполитанской баркаролы:

*Tu sei l'impero dell'armonia,
Santa Lucia, Santa Lucia[180].*

Вошел приятель мой импровизатор Дженнаро, малый лет тридцати пяти, высокого роста, стройный с красивым, веселым и дерзким лицом.

Дженнаро известен всем иностранцам, посетившим Неаполь, как какая-нибудь знаменитая статуя бывшего музея *Borbonico*[181], как развалины Помпеи, как сам Везувий. Был он избалован до крайности, но его чересчур развязные манеры в обращении с людьми,

привыкшими встречать некоторого рода уважение к себе, по крайней мере наружное, от людей его класса, – эти манеры продукт всей его вольной, нищенской жизни. Впрочем, Дженнаро – далеко не нищий. Он одевается, как трактирный лакей средней руки; он дорого заплатил когда-то за свою гитару, которую бережет, как друга и как верный источник доходов.

Проживает Дженнаро несравненно больше какого-нибудь чиновника из *Dicastero dell'interno*[182], хотя не держит квартиры, обедает в самой отвратительной *gargotta*[183], и то по большей части заставляя себя угощать даром. Пьет он много, но, как неаполитанец, пьянеет сразу, а в Неаполе пропивать столько, сколько может он добывать – дело не легкое. Но Дженнаро страстный волокита, ревностный *cavaliere servente* и очень угодливый вздыхатель. Каждый день он влюблен в нескольких красавиц из хора *Teatro Nuovo* или *la Fenice*. В любви, Впрочем, он не разборчив. Артистке он отдает сердце скорее, чем женщине, занимающейся делом даже в его глазах унижительным, но и те не встречают в

нем убийственной жестокости. Дженнаро – аристократ в полном смысле этого слова, по наклонностям и по образу жизни. Никогда, в течение всей своей жизни, не покидал он самой аристократической части города: *Santa Lucia, Riviera di Chiaia, Chiatamone*, и королевский сад *Villa Reale*. Он встает очень поздно, обедает вечером, пьет кофе и делает кейф, как сам герцог Сиракузский. Кроме того, Дженнаро уважает только людей, имеющих собственные экипажи, живущих в богатых отелях и всегда щегольски одетых. Притом он не любит *снобов*; наконец, он смеется над англичанами, хотя от них зарабатывает всего больше. Особенной симпатией Дженнаро пользуются некоторые русские семейства, с которыми он успел познакомиться. В них любит он задушевную, порой разгульную сторону характера, которую не вполне заглушают привычки светской жизни.

Вместе с тем Дженнаро – отчаянный *dilettante*; он любит поболтать об искусстве вообще, о возвышенном в музыке; говорит порою страшную чепуху, необходимый результат его невежества и отсутствия всякого

художественного изучения. Зато у него столько врожденного чувства изящного, такие громадные способности уха и голоса, что, без сомнения, он мог бы занять очень почетное место в кругу современных артистов, если бы когда-либо серьезно взглянул на искусство. У него так сильна музыкальная память, что он неоднократно повторял при мне наизусть целые оперы, прослышанные им один или два раза, но, конечно, переделав их по-своему. Скажу наконец, что он поет несколько русских песен, заучив по слуху их слова и мотивы, но не понимая вовсе их смысла.

Репертуар Дженнаро главным образом состоит из неаполитанских народных песен; оперные арии поет он с большим разбором, делающим честь его природному вкусу. Он сам много сочинил и импровизировал на своем веку, но все его сочинения не что иное как вариации на давно уже известные мотивы.

По манере пения он отличается от своих собратьев, менее знаменитых; она у него более искусственна, порою до натянутости. Когда он поет перед иностранцами, в особенности в трезвом виде, он жеманится, рисуется,

фокусничает чересчур, и на публику производит в подобных случаях очень дурное впечатление. Но расшевелившись, подвыпивши, Дженнаро весь отдается впечатлению. Манера его пения, как и вообще неаполитанская манера, несколько напоминает московских цыган, хотя в ней несравненно больше художнического чувства.

Дженнаро нередко представлялся случай попасть на сцену, и это бы очень польстило ему, но лень его всегда возмущалась мыслью о каком-либо определенном занятии, и он ни за что не хотел изменить своей бродяжнической жизни.

Как истый художник, Дженнаро не любит и вблизи никакого кровопролития; вопреки неаполитанским привычкам, он не носит на себе никакого оружия; поэтому в революции он принимал самое мирное, хотя и довольно деятельное участие. Он сочинял патриотические песни и вдохновлял ими толпу, но только когда вблизи не предвиделось никакой драки. Едва бурбонское знамя было снято с башен *Sant'Elmo*, Дженнаро нарядился в трехцветный жилет и панталоны. Он, как истый

неаполитанец, горячо предан Гарибальди, и в минуты отдыха постоянно бормочет себе под нос известный гимн «*Si scopron le tombe, si levano i morti*»[184].

Впрочем, гимн этот, всем известный в Италии, для русской публики может быть новостью. Эта итальянская марсельеза, произведение какого-то неведомого маэстро[185], тотчас же разученное целым народом, и когда Меркаданте[186] попробовал исправить его в музыкальном отношении, он легко убедился, что невозможно изменить тут ни одной фразы, ни одного звука, ни каданса, чтобы совершенно не испортить целого. Эта оригинальная, смелая, волнующая и вдохновляющая музыка, дни и ночи гремит в целом Неаполе, и никому еще она не приелась, никто еще не привык слушать ее хладнокровно.

Пьемонтизаторы[187] попробовали было охладить несколько эту горячую приверженность Неаполя к невинному музыкальному произведению, но все попытки их оказались неудовлетворительными. Либорио Романо [188] попробовал выгнать клин клином и ввести пьемонтскую *Gigogina*[189], оригиналь-

ную, но несколько пошлую народную польку, переделанную в марш. Неаполитанцы, привыкшие в театрах в каждом антракте слышать любимый гимн, охотно прослушали *джигонью* в первый раз, вслед за гимном Гарибальди; но, когда в следующем антракте вздумали было вовсе заменить этот гимн новой полькой, случилась чуть не революция. Испуганный полицейский комиссар выбежал на сцену и не придумал ничего лучшего, как объявить публике, что гимна повторять нельзя, так как он не назначен на афишке.

– Да ведь и вы там не назначены, – заметили ему из ложи, где сидело несколько гарибальдийцев, и, сконфуженный, сопровождаемый торжественными свистками, блюститель порядка удалился молча. Тогда публика бросилась в оркестр, затолкала испуганных музыкантов и, отобрав их инструменты, принялась сама исполнять народный гимн, нельзя, впрочем, сказать чтобы с полной гармонией и совершенством.

Привязанность Дженнаро ко благу отечества, хотя не чуждая аффектации и желания выказываться, – чувство искреннее и беско-

рыстное. В самом деле, положение его стало значительно хуже вследствие случившегося переворота. Богатые аристократические семейства, протезировавшие ему, уехали, наплыв иностранцев стал несравненно меньше против прежнего, и доходы бедного Дженнаро уменьшились. Но соловей Санта-Лучии не унывает, и поднося с любезной улыбкой какой-нибудь фее браслет или брошку, купленную на последний дукат, он с прежней веселостью улыбается, счастливый ее многозначительным взглядом и удаляется радостно напевая:

*Al Garibaldi si deve l'onore —
E sempre stato il vincitore[190].*

Да простят мне читатели множество куплетов и двестишый... Говорить о Неаполе без стихов и песен трудно.

«Высадка Гарибальди в Марсале», художник Джироламо Индуно, 1880-е гг.



Гарибальдийка. Раскрашенная фотография.



«Уход гарибальдийца», художник Джироламо Индуно, 1880-е гг.





Битва на Вольтурно, 1–2 октября 1860 г.,
фреска Джузеппе Виццотто-Альберти, 1920-е
гг.



Битва на Вольтурно, гарибальдийцы в Санта-Мария-Капуа-Ветере, художник Джованни Фаттори, ок. 1860 г.



«Пленные бурбонцы, взятые на Вольтурно». 1860 г.

«Битва при Калатафими», художник Реми-джо Легат, 1860 г.



«Битва у моста Аммиральо в Палермо», художник Ренато Гуттузо, 1952 г.



«Джузеппе Гарибальди в Палермо», художник Джованни Фаттори, ок. 1860 г.

«Капитуляция Палермо», цветная литография, ок. 1860 г.



«Встреча Гарибальди с королем Виктором-Эммануилом II в Теано», фреска Пьетро

Альди, 1886 г.



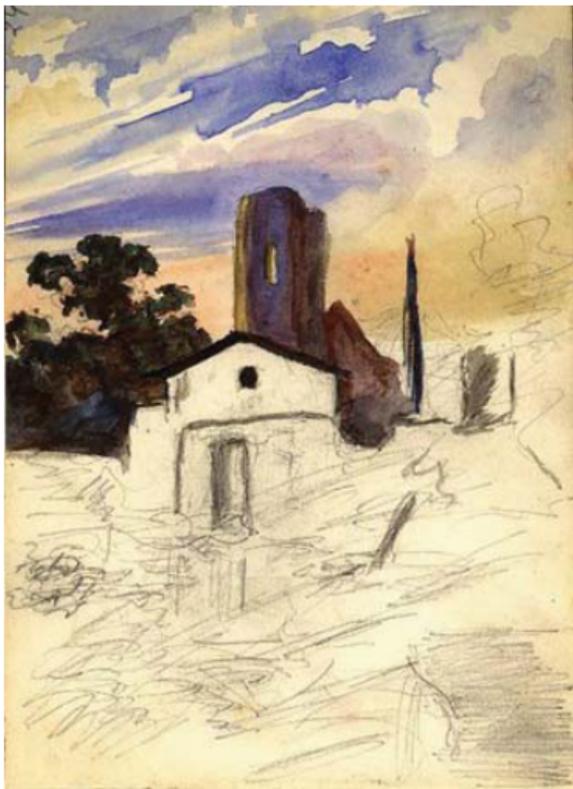
«Вход Гарибальди в Неаполь», художник Франц Венцель, 1860 г.

«Волонтеры несут Гарибальди, раненного при Аспромонте, 1862 г.», художник Джероламо Индуно, 1880-е гг.

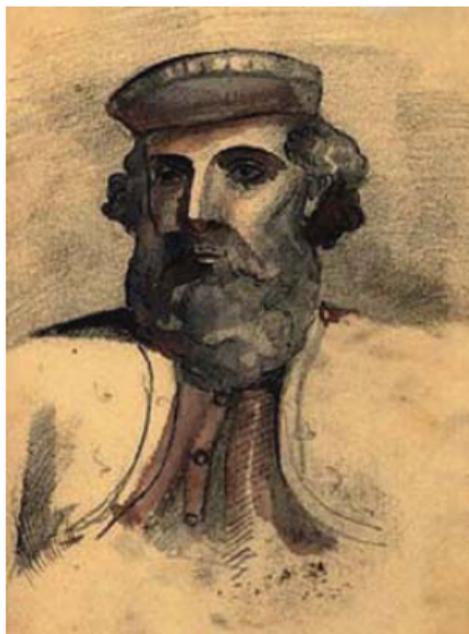


«Пирогов консультирует раненного Гарибальди, 31 октября 1862 г.», художник Сергей Присекин, 1998 г.









Рисунки Л. Мечникова из его блокнота,
1860 г.(Государственный архив Российской
Федерации)



Предполагаемый автопортрет



Джузеппе Гарибальди, Неаполь, 1861 г.
Генерал Джованни Никотера, командир
отряда Мечникова



Карло Пизакане, организатор революционного десанта (1857 г.)



Вид виллы Кафель-Пульчи под Флоренцией, выделенной летом 1860 г. волонтерам Гарибальди перед их отправкой на Сицилию. Гравюра Джузеппе Цокки, 1747 г.



Villa di Castel Pulci del sig. March. Riccardi

8.



Отплытие гарибальдийцев на Сицилию на пароходах «Стромболи» и «Ломбардия». Художник Джироламо Индуно, 1880-е гг.



Солдаты армии Франциска II Бурбонского на Сицилии, весна 1860 г.

«Десант “экспедиции Тысячи” в Марсале 11 мая 1860 г.», художник Джузеппе Титоне, нач. 1870-х гг.



«Высадка экспедиции Гарибальди на Сицилии», английский рисунок 1901 г.



Палермо после взятия гарибальдийцами,
лето 1860 г.



Гарибальдийский генерал Иштван Тюрр в Палермо, лето 1860 г.



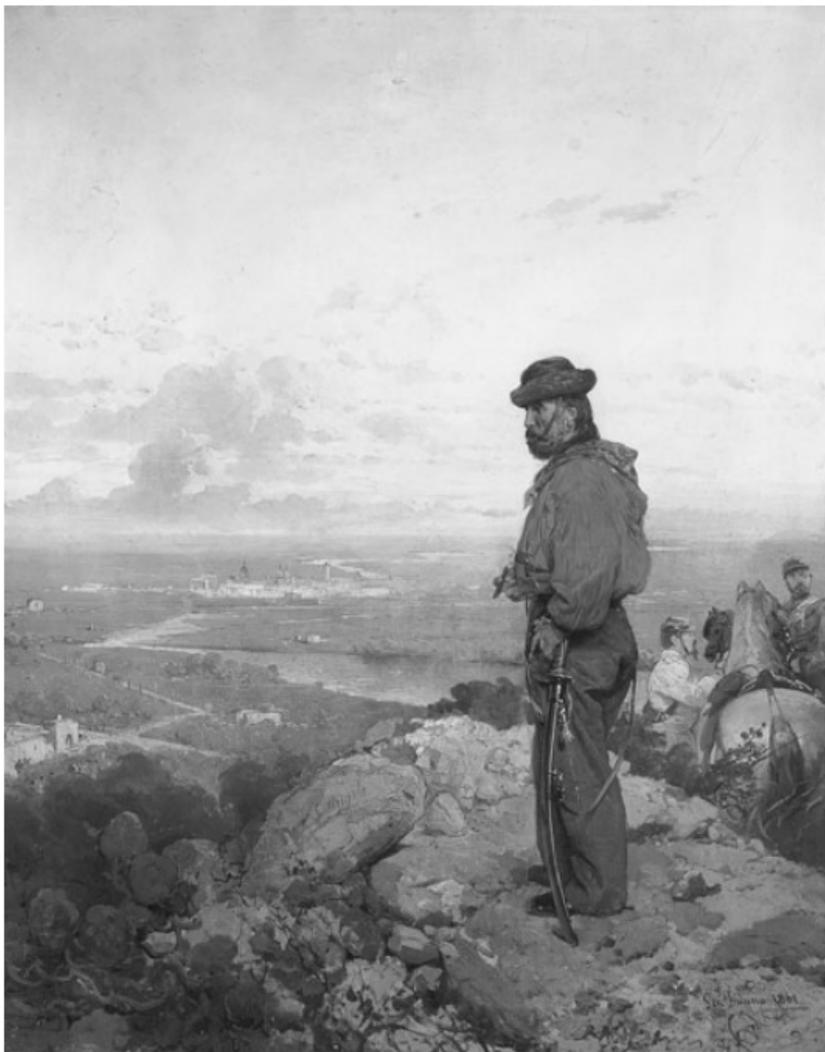
«Смерть Аниты Гарибальди», народный лубок, середина XIX в.



Народный лубок 1860 г., иллюстрирующий разочарование Гарибальди и гарибальдийцев результатами «экспедиции Тысячи».



«Гарибальди у Капуи, октябрь 1860 г.». Художник Джироламо Индуно, 1880-е гг.



DOMENICA DEL CORRIERE

Anno 62 - N. 44 - L. 40

Settimanale del CORRIERE DELLA SERA

30 ottobre 1960



Teano, cent'anni fa. Il 26 ottobre del 1860, vicino alla piccola città del Casertano, si incontrarono Vittorio Emanuele II e Giuseppe Garibaldi, che a Napoli aveva concluso vittoriosamente la spedizione dei Mille. Il pittore Walter Molino ritrae i protagonisti dello storico avvenimento che segna una tappa decisiva del nostro Risorgimento e costituisce il preludio all'unità d'Italia di cui ci si appresta a celebrare il primo centenario.

Обложки воскресных приложений к «Коррьере делла Сера»: битва при Калатафими (слева) и встреча Гарибальди с королем Виктором-Эммануилом II

DOMENICA DEL CORRIERE

Anno 62 - N. 18 - L. 40

Settimanale del CORRIERE DELLA SERA

1 maggio 1960



"Qui si fa l'Italia o si muore" grida Giuseppe Garibaldi durante la battaglia di Calatafimi a Nino Bixio quando le sorti dello scontro sembrava dovessero favorire i borbonici. E' uno degli episodi più celebri del Risorgimento, qui rievocato dal pittore Walter Molino. Nell'interno: un pagliaccio a colori sull'epoca dei "Mille" di cui si celebra in questi giorni il centenario

«Гарибальди и его волонтеры», народный лубок, ок. 1860 г.



Imp. de l'Édition de l'Épée, Boulevard des Capucines, 27, à Paris.

Reproduit des épreuves. (Dessiné par...)

En avant mes amis! Vive l'Italie et Victor-Emmanuel.

Гарибальди. Модель работы Паоло Трубецкого, для конкурса на памятник в Неаполе, 1890-е гг.



Встреча Гарибальди и Виктора-Эммануи-
ла II в Теано, художник Себастьяно Де Альбер-
тис, ок. 1870 г.



Отец Алессандро Гавацци во время венецианского восстания в 1848–1849 гг.



Сражение на Вольтурно, неизвестный художник



дощник, ок. 1860 г. Литография Ф. Перрина,
1861 г.

Отец Джованни Панталео



Отец Панталео благословляет гарибальдийцев, народный лубок, ок. 1860 г.



Осада Гаэты, последнего бурбонского опло-

та, пьемонтскими войсками, художник Раффаэле Понтремоли, ок. 1880 г.



Последний неаполитанский король Франциск II

Александр Дюма, фотопортрет из состав-



ленной им книги мемуаров Гарибальди
«Mémoires de Garibaldi», 1860

«Гарибальди и гарибальдийцы», художник
Плинио Номеллини, 1907 г.



Афиша фильма «Гарибальдийская Тысяча», режиссер Алессандро Блазетти, 1934 г.



Арка Адриана в Капуе, укрепленная Мечниковым, совр. фото (на мемориальной доске в честь гарибальдийцев – граффити «Да здравствуют Бурбоны»)



XXIII. Карлуччо

В залах великолепного дворца иезуитов, выгнанных по занятии Неаполя гарибальдийцами, устроен был госпиталь для опасно раненых. Богатые неаполитанские семейства пожертвовали значительные суммы на его устройство, а честный и деятельный директор, тосканец доктор Морози[191], не щадил трудов и усилий, чтобы по возможности доставить своим несчастным больным удобства и средства к излечению.

В одной из общих комнат, на маленькой железной кровати, умирал товарищ наш Карлуччо, тяжело раненый в грудь 1-го октября. Карлуччо был солдат, и никогда не хотел никакого повышения. Он имел кое-какое состояние, но еще при начале похода он всем пожертвовал на организацию новых экспедиций; сам он жил своим солдатским жалованьем, и с особенным усердием и ревностью исполнял свои тяжелые обязанности; но он как будто придерживался русской поговорки: от службы не отказываться, на службу не напрашиваться. Он редко принимал участие в

отважных предприятиях и ночных экскурсиях, особенно любимых молодыми волонтерами и представляющих удобный случай сложить голову или отличиться, но мало приносящих истинной пользы. Зато неоднократно случалось, что в очень опасные минуты Карлуччо один из целого батальона устаивал на месте, или спокойно шел вперед, не обращая ни малейшего внимания на то, что товарищи его отставали шагов на сто. Замечательно, что при всем этом он ни разу не бывал ранен.

Все, знавшие Карлуччо, уважали его; некоторые как-то побаивались, но любили немногие. Его холодные, строгие манеры, постоянная молчаливость отталкивали от него буйную и веселую молодежь, привыкшую в разгуле проводить часы остававшиеся свободными от их кровавых занятий.

Меня сначала очень заинтересовала эта таинственная личность, но узнав Карлуччо, хотя и не очень коротко, я сильно привязался к нему. Карлуччо с своей стороны обращался со мной несколько мягче и откровеннее, нежели с другими из своих товарищей, и говорил мне *ты* вопреки дисциплине, всегда

строго им соблюдаемой. Впрочем, эту интимность позволял он себе только во время ночных наших разговоров с глазу на глаз; при других он постоянно называл меня по чину.

Эти ночные беседы наши как-то странно остались у меня в памяти, хотя мы говорили большей частью об очень общих предметах: об итальянской литературе, по преимуществу о неаполитанской, об искусстве, о жизни ладзарона, – и я узнал от него много интересных подробностей из этой жизни. Порою Карлуччо расспрашивал о жизни русских мужичков, которая особенно занимала его, но никогда ни слова о себе, что для меня было бы замечательнее всего остального. Он говорил тихо, не горячась и не жестикулируя по образцу своих соотечественников и всегда довольно чистым итальянским языком, хотя не без сильного неаполитанского оттенка в произношении.

Лицо его, то освещенное ярким месяцем, то причудливыми отблесками бивачного огня, всегда особенно привлекало меня своей симпатичностью и каким-то глубоко задумчивым выражением. Черные волосы в локонах падали на высокий белый лоб и закрыва-

ли его больше нежели на половину, густые брови сходились в какую-то странную складку; в глубоких орбитах сверкали огромные глаза. Черные усы и маленькая бородка еще резче выказывали матовую бледность его лица, казавшегося мраморным при фантастическом свете лунной ночи.

После Вольтурнского сражения мы не видались, и, каюсь, я уже перестал думать о моем бывшем приятеле; но когда мне сказали, что Карлуччо умирает, мне стало вдруг тяжело, и я опрометью выбежал из кофейной, где сидел в кругу веселой и беззаботной молодежи. Как ни торопился я, но было уже слишком поздно. Больной был в страшном бреду, не узнавал никого, метался и говорил несвязные речи. Лицо его мало изменилось от страданий, может быть потому, что он не мог уже ни похудеть, ни побледнеть против обыкновенного своего состояния. После четверти часа томительной агонии, Карлуччо успокоился навеки. Тогда только, в числе окружавших его постель, я заметил женщину лет тридцати, стоявшую по-видимому спокойно, облокотясь на его подушки; но лицо ее, ни красивое,

ни дурное, выражало столько страдания, что становилось страшно.

Ее же, молчаливую и бледную, встретил я на похоронах Карлуччо. Когда гроб опустили в яму, она глухо застонала и покачнулась; я стоял близко от нее и поспешил поддержать ее, думая что она упадет в обморок. Но я ошибся. Когда церемония кончилась, она спокойно и твердо пошла за толпою. Дойдя до первого памятника, с мраморным гением смерти, она облокотилась на пьедестал и упала на колени. Я остался недалеко от нее, внимательно следя за нею. Остальные не заботились ни о ней, ни обо мне.

Больше часу оставалась она в этом положении. Становилось поздно. Мне надоело наконец выжидательное положение, но я не мог оставить ее одну, предполагая, что она в обмороке или в летаргическом состоянии.

Не помню, какую именно фразу сказал я ей, но знаю, что мне пришлось повторить ее несколько раз. Дама оглянулась, – лицо ее было бледно, но спокойно, и в глазах ни малейшего признака безумия. С минуту она молча окидывала меня своим спокойным и мерт-

ВЫМ ВЗГЛЯДОМ.

– Время идти, – сказала она, вставая и отряхивая платье.

Я предложил провести ее до первой кареты; она молча оперлась на мою руку.

На беду экипаж отыскался нескоро. Я усадил ее и спросил ее адрес. Она сказала мне его и прибавила: А вы разве не пойдете со мною?

Меня несколько удивил этот вопрос; я стал говорить какие-то пошлости, сел рядом с нею, и приказал кучеру везти нас по данному адресу.

Не знаю, какое именно чувство заставило меня поступить таким образом. Вернее всего простое любопытство; наружность этой женщины производила на меня несколько отталкивающее впечатление, и я вовсе не считал для нее необходимыми мои услуги.

– Вы были другом Карлуччо? – спросила она меня.

– Нет. Я слишком мало знал его, хотя постоянно желал узнать его поближе.

Она принялась рассказывать мне подробности о его жизни. Расстояние до ее квартиры было большое, и она успела сообщить мне

много очень интересного. Проводив ее до ее лестницы, я раскланялся и уехал, и никогда уже потом не встречался с нею. Прибавлю для любопытных, что это была сестра женщины, которую страстно любил Карлуччо. Она горячо любила его, но он никогда не отвечал на ее чувство и, кажется, не знал его вовсе.

Карлуччо был одним из тех мечтательных и сентиментальных созданий, которые очень редко встречаются между итальянцами. С самого детства над ним тяготела какая-то тяжелая судьба; или, лучше, это была одна из тех организаций, которые вовсе не созданы для счастья. Страстная и пылкая душа его никогда не могла помириться с той пошлой ежедневной жизнью, которая легко дается на долю каждому. В нем много было пылких порывов, готовности на всякие подвиги, на страшные жертвы, но ему не доставало силы на мелочную борьбу, которая одна может привести человека к желанной цели. А жизнь поступает с такими организациями без жалости, без пощады.

В эпоху, когда жил Карлуччо, не трудно было предсказать его участь; тюрьма и висе-

лица, или печальный, но честный конец, к которому пришел он, – вот всё, из чего ему приходилось выбирать.

Иногда женщина может еще отворотить эту неумолимую судьбу, может любовью искупить милую ей голову, отмеченную роковым клеймом.

Но для этого ей нужно много любви и силы, и не это выпало на долю Карлуччо.

У Карлуччо не было ни сестер, ни братьев; мать его умерла в родах. Он жил один с своим отцом, знаменитым музыкантом того времени. У Карлуччо с детства были отличные способности ко всему, и к музыке в особенности; кроме того, звучный и сильный голос. Отец имел в виду сделать из него певца.

В Неаполе трудно дать юноше сколько-нибудь сносное образование. Отец Карлуччо не щадил издержек, приглашал для своего сына лучших учителей, и молодой Карлуччо приобрел кое-какие сведения, благодаря, впрочем, больше всего своей любви к чтению и к занятиям всякого рода. Пятнадцати лет он хорошо рисовал, говорил по-французски и имел кое-какие другие сведения, собранные без си-

стемы и всякой внутренней связи. Жизнь их шла спокойно и не было ни одного внешнего повода к той непонятной, безотчетной тоске, которая теснила жизнь здорового и сильного мальчика. Наступила бурная эпоха 48-го года. Карлуччо было около семнадцати лет. Отец его был капитаном в батальоне национальной гвардии, тогда только что сформированной.

Когда началась бомбардировка Неаполя, Карлуччо несколько дней просидел дома. Раз вечером, отец его не возвратился, и прождав его напрасно всю ночь, Карлуччо на утро отправился на поиски.

Гремела перестрелка, по улицам стояли баррикады. На *Largo del Palazzo*, у входа на Толедо, Карлуччо увидел на мостовой, в кучке убитых, труп своего отца. В совершенном отчаянии упал он на эти последние останки того, что ему еще было дорого на свете. Ему недолго пришлось однако предаваться своему отчаянию. Батальон швейцарцев штыками разгонял национальную гвардию, усиленную пристававшими к ней гражданами и ладзаронами. Карлуччо поднял валявшееся

на мостовой ружье и бросился в ряды защищавшихся. Швейцарцы одержали верх. Защищавшиеся бросились бежать, оставив много убитых и раненых. Карлуччо скрылся в одном из примыкающих к Толедо переулков, раненый в грудь, но еще имевший силы держаться на ногах. У одного дома увидел он молодую женщину, плававшую в собственной крови. Он схватил ее на руки, и пустился снова бежать, сам не зная куда. Женщина между тем очнулась. От нее он узнал ее адрес и отнес ее в ее квартиру. Тут силы ему изменили, и он упал замертво.

Болезнь его была продолжительна; всё это время он оставался в квартире спасенной им женщины, оправившейся прежде его. Она и сестра ее очень усердно за ним ухаживали. Когда здоровье его несколько оправилось, он хотел возвратиться в свой дом, но его удержали, потому что ему было бы небезопасно показаться в своем доме. Между тем Карлуччо узнал, что Клариче (имя раненой женщины) была жена господина, вовсе не враждебно относившегося к новому правительству, и даже занимавшего очень почетное место в новой

администрации.

Скоро он горячо полюбил Клариче, и она стала к нему равнодушна. Когда здоровье его совершенно поправилось, муж Клариче обратил всё его имение в деньги и доставил ему средства бежать из Неаполя. Клариче, тайно от мужа, последовала за ним во Флоренцию.

Счастье преступных любовников было непродолжительно. Клариче, страстно его любившая, не могла ни на минуту забыть оставленного мужа. Жизнь этой женщины была отравлена и надломлена. Привыкшая к достатку и роскоши, она не могла переносить бедной, рабочей жизни, которую пришлось ей делить с несчастным Карлуччо. За каждую минуту упоения и страсти пришлось платить годами тяжелых страданий.

Здоровье Карлуччо поддалось разрушительному влиянию. Ему пришлось бросить всё, что было ему дорого, но в любви Клариче он находил искупление всему. Силы бедной женщины слабели с каждым годом; однажды зимою она слегла в постель и весной отправилась к праотцам, промучившись несколько

месяцев.

На следующий год Карлуччо очутился в числе двадцати пяти товарищей Пизакане. Участь этой отчаянной экспедиции хорошо известна. Главные вожди ее были казнены. Карлуччо, вместе с Никотерой, был осужден на пожизненное заключение в палермитанской тюрьме.

Когда Гарибальди по занятии Палермо освободил узников, Никотера отправился в Геную, а оттуда во Флоренцию, где принял начальство над формировавшейся там бригадой. Карлуччо отправился в Неаполь, распорядился насчет остававшихся у него денег так, как я уже сказал выше, и определился рядовым в войска Гарибальди. Читатели уже знают дальнейшую его участь.

XXIV. Гарибальди

Я сидел на скамейке в *Villa Reale*, выслушивая длинные тирады об искусстве приятеля моего Дженнаро. Вдруг неистовые крики полились со стороны Киайи. Мы оглянулись: из-за угла вылетела маленькая коляска, в которую была запряжена пара маленьких же лошадей, похожих на вятков. В коляске сидел Гарибальди в своем всегдашнем костюме; за коляской, по обыкновению, бежала толпа, приветствуя экс-диктатора громкими «*viva*».

Он сидел молча, нахлобучив на глаза свою венгерскую шапочку, и старался не замечать окружавшего. Гарибальди – заклятый враг подобного рода оваций, и каждый раз, когда ему случалось показываться на улице, он испытывал истинное мучение.

Коляска остановилась у подъезда гостиницы, где Гарибальди часто обедал в последнее время. Народ собрался у окон; демонстрация принимала серьезный характер.

Несколько дней перед тем разнеслись слухи об отъезде Гарибальди. Он тщательно скрывал свои намерения даже от приближен-

ных, а между тем не было харчевни в Неаполе, где бы не знали о не совсем дружелюбных отношениях его к новому правительству и о решении его удалиться от всякой деятельности. Все толковали это по-своему, но все единодушно желали, во что бы то ни стало, удержать его в освобожденном им городе.

Отчаянные «*viva*», раздававшиеся у окон гостиницы, прерывались время от времени длинными фразами, выражавшими сочувствие народа к Гарибальди; раздалось несколько угроз, конечно, не к нему относившихся. Пьемонтские карабинеры попробовали было водворить порядок, но встречены были очень не дружелюбно.

«*Parte domani*» (он едет завтра), – слышалось повсюду, и волнение усиливалось.

На следующий день, действительно, Гарибальди уехал на свою Капреру, где и теперь мирно занимается садоводством и огородничеством.

Отъезд его, хотя и не неожиданный, как-то изумил и ошеломил всех. Неаполь молчал, подавленный всей тяжестью этого события: оно огорчило всех, и от него ожидали самых

печальных последствий. Но Франческо был слишком тесно окружен в Гаэте пьемонтскими войсками; реакционеры давно уже повесили носы и ожидали его возвращения точно так, как евреи ожидают пришествия Мессии, то есть страшно желая, чтоб оно сбылось, но ничем не помогая скорейшему осуществлению своих задушевных упований.

А Гарибальди и теперь еще спокойно живет на Капрере; он выдал замуж свою дочь за одного из храбрых своих товарищей, и Бог знает какой картофель и спаржу сеет он там на своем огороде! Быть может, тяжело придется немецким желудкам переваривать плоды его плантаций.

Я мало говорил в своих записках о нашем вожде, о герое Италии, который был душой и исполнителем великого предприятия; но теперь я считаю себя вправе посвятить ему одну из последних глав моих записок, и да простят мне читатели, если размеры этой главы не совсем будут равняться предыдущим.

Во всё время военных действий я мало видел Гарибальди, и видел обыкновенно в очень трудные минуты. До тех пор я знал его

по рассказам, по печатным известиям и по фотографическим портретам, которые тайком покупал в Венеции за большие деньги. Я никогда не предполагал, чтобы фотография, это механическое передавание действительности, могла так переиначивать личность человека. Тем не менее, увидя в первый раз Гарибальди, я спрашивал сам себя: но что же общего между этим прекрасным, выразительным и почти женски-нежным лицом, и тою грубою суровою физиономией гверильяса [192], которой снимок и тогда еще лежал в моей записной книжке?

Но я не один был обманут портретами Гарибальди. Вот что говорит о нем один английский турист, видевший его в Комо в 1859 г.:

«По портретам, которые мне случилось видеть, и по всему, что мне удалось слышать о Гарибальди, я воображал себе его очень плотным и высоким, сухого телосложения, с длинными черными волосами и густой бородой, одним словом романическим испанским гверильясом, который с одинаковым дилетантизмом поет романсы своего сочинения, аккомпанируя себе на гитаре, и убивает арти-

стически людей. Вышло совсем напротив. Я с трудом верил, что этот спокойный, без аффектации и вполне порядочный по манерам господин (*gentlemanly man*), вошедший и усевшийся вместе с нами, – был Гарибальди. Он среднего роста: не больше пяти футов и семи-восьми дюймов, широкоплеч и сильно сложен, но в фигуре его нет ничего грубого и тяжелого. В наружности его есть что-то английское; может быть, такому впечатлению способствуют его светло-каштановые волосы и борода, коротко остриженные и слегка подернутые серебристой сединой. Голова его очень правильно устроена, и по ней можно судить о высоком развитии умственных его способностей; лицо его очень красиво и выражает много доброты, – но, как ни вглядывался я в него, – я не видал ничего, обличающего на первый взгляд героя отступления от Рима и взятия Комо; только, когда он заговорил о несчастиях и угнетении своего отечества, губы его задрожали и в глазах засверкал так долго подавленный огонь, священный огонь, – и в эту минуту я совершенно понял характер этого человека. Ребенок остановил

бы его на улице, чтобы спросить у него «который час?», но человек, которого бы он осудил расстрелять через полчаса, встретя его спокойный и решительный взгляд, не стал бы просить у него пощады. Во время нашего свидания он говорил о современных событиях (не упоминая о своих подвигах); он говорил с увлечением, но без жестикуляции. Вообще, у него спокойные и приличные манеры английского джентльмена».

Я привел эти несколько строк из записок английского туриста, так как на мой взгляд они вполне обрисовывают наружность Гарибальди, с отчетливостью английской акварельной картинки, и вместе с тем передают впечатление целого. Такие портреты редкость и в живописи, и в литературе. Во время последнего похода, Гарибальди носил, напротив, очень длинные волосы и не стриг бороды. Таким же я видел его на всех портретах.

Я предполагаю, что читатели знакомы с биографией этого замечательного современника, но тем не менее приведу здесь факты из предыдущей его жизни, которые могут бросить некоторый свет на эту еще не разгадан-

ную личность.

Что Гарибальди сын ницкого рыбака – это всем известно. У Гарибальди осталось навсегда самое отрадное воспоминание о той поре его жизни, – единственной, когда он жил для себя, – когда в рыбацкой лодке с несколькими сверстниками, сыновьями окрестных рыбаков, гулял он по Ницскому заливу, беззаботно отдаваясь впечатлениям. Я помню, однажды, в небольшой приморской деревушке Калабрии, несколько гарибальдийцев занимались, в виде развлечения, опасной ловлей пылырыбы (*pesce spada*). Гарибальди, с борту бригантина, следил за ними с приметным удовольствием, и в душе, кажется, проклинал свои серьезные занятия, мешавшие ему принять участие в этом увеселении.

С очень ранних лет, Гарибальди приобрел много практических и технических познаний в морском деле, и вероятно надежды его отца, желавшего пуще всего на свете видеть своего сына искусным моряком, совершенно бы исполнились, если бы не особенная случайность. Гарибальди очень рано начал мыслить и рассуждать, и в детской голове носились по-

рой мысли, достойные более зрелого возраста. Благодаря усердным занятиям математикой, в которой он делал большие успехи, порядок скоро водворился в его мечтаниях; они приобрели мало-помалу положительный характер, и притом не замедлили получить очень определенное направление.

Гарибальди жил лицом к лицу с несчастьями, порожденными жалким административным и политическим положением своей родины, которую он любил со всей пылкостью своего нрава, со всей горячей преданностью *uoto di popolo*[193].

Мадзини был тогда единственная живая сила Италии. Он собрал своих последователей в Швейцарии, в кантонах Ваатландском и Женевском. Это было в 1834. Гарибальди было тогда около семнадцати лет[194]; едва взялись за оружие, он стал в ряды мадзиниевых приверженцев. Попытка эта не удалась. Многие были взяты в плен, остальные бежали. В числе их был Гарибальди.

Прежде всего он отправился в Марсель, где перебивался уроками из математики. Внутри его всё уже было решено; у него была одна

мысль, одно желание – стать тем, чем он стал в последствии. Нужно знать, каким тяжелым путем дошел он до этого тоже не легкого, хотя и желанного положения.

Увидя, что оставаясь скромным учителем математики, он не может приобрести ни военной опытности, ни имени, ни славы, которые были ему нужны не для удовлетворения личного самолюбия, – положим тоже похвального, – но для достижения высших целей, он оставил Францию и отправился в Африку предлагать, в качества морского офицера, свои услуги туниССкому бею. Оттуда он перебрался в Южную Америку. Не стану говорить здесь о его блестящих подвигах в этой стране, об опасностях, которым подвергался он, в которых избежал благодаря чудесам неустрашимости и храбрости. Этим можно бы наполнить целый том.

Я расскажу здесь один частный факт из его личной жизни. Это брак его с Анитой.

Находясь на службе Уругвайской республики, Гарибальди, со своим небольшим флотом, которого экипаж составляли большей частью итальянские эмигранты, занял порт Ла-

гуна, с целью поднять бразильскую провинцию Санта-Катарину, чтоб отвлечь силы Бразилии. Вся морская сила, бывшая под его командой, состояла из трех небольших кораблей, с которыми он долго крейсировал вдоль берегов и постоянно беспокоил неприятеля. Когда, наконец, с одним из них он задумал возвратиться в Лагуну, большой бразильский бриг атаковал его и старался перерезать ему дорогу. Не без труда удалось ему наконец войти в этот порт, и он воспользовался короткой стоянкой там, чтобы сочетаться с Анитой, которую он любил давно. Анита не замедлила явиться на корабль своего жениха, где должна была совершиться свадьба.

Между тем сильный бразильский флот, почти по следам маленькой флотилии Гарибальди, вошел в Лагуну и открыл убийственный огонь по отважным крейсерам.

Это была свадебная музыка, вполне достойная новобрачных. Надежды на победу было мало, и Гарибальди позаботился о спасении своих товарищей. Когда последний из них уже оставил корабль, Гарибальди поджег его своей рукой и, вместе с Анитой, вскочил в

шлюпку, в которой они благополучно достигли берега под выстрелами неприятелей. Из двенадцати офицеров, бывших на корабле, уцелел один Гарибальди.

Но я уже отказался перечислять подвиги Гарибальди в Америке, и потому прямо перехожу к его прибытию в Европу.

Едва дошла до его слуха весть об итальянских событиях эпохи 47-го года, как он, разорвав все свои обязательства относительно Монтевидео, принялся за устройство отряда волонтеров, пожертвовав на это все бывшие в его руках деньги. Много добровольных приношений от его соотечественников увеличили его капитал и дали ему возможность оснастить бригантин *Esperanza*, на котором он, вместе со своими волонтерами, прибыл в Ниццу, после долгого плавания, в июне 1848 г. В собственных записках Гарибальди рассказано много интересных подробностей о том, как правительство Монтевидео старалось затруднить его отъезд. Скромный герой, кажется, и не подозревает причин, побуждавших это правительство поступать таким образом. Эта странная наивность, какое-то детское

непонимание всей ценности оказываемых им услуг, – одна из основных черт характера Гарибальди.

Забыв прошедшее, Гарибальди отправился в Турин предложить королю услуги свои и своего отряда. Карл-Альберт, боявшийся в то время больше Мадзини, нежели австрийцев, принял американского адмирала очень сухо и холодно. Он очень любезно говорил с ним о его подвигах в Америке, но насчет принятия или непринятия его и его отряда на свою службу не дал ему положительного ответа и кончил тем, что послал его к министрам.

Гарибальди был очень смущен этим неожиданным приемом. Не личное самолюбие его было оскорблено, но он сразу понял характер короля-мученика, впоследствии погубивший Италию. Он решился отправиться в Милан, где был принят с единодушным энтузиазмом, заставившим его забыть претерпенные неудачи и снова надеяться. Ему тотчас же дано было начальство над трехтысячным корпусом волонтеров и поручена была защита провинции Бергамо. Оттуда вскоре его отозвали в Милан.

Но и тут ему не долго пришлось действовать, так как скоро (9-го августа 1848 г.) заключено было перемирие между Австрией и Пьемонтом.

Когда снова начались военные действия, Гарибальди было предложено начальство над отдельным корпусом сардинской армии. Он отказался от этого предложения, намереваясь отправиться на выручку Венеции, теснимой австрийцами, но геройски защищавшейся. Еще раз пришлось ему изменить свои планы, – трудное положение Рима манило его туда.

Я не стану рассказывать всех событий 48 года. Общий характер их знает вся Европа. Карл-Альберт, справедливо заслуживший в этот короткий период название короля-мученика, с геройским самоотвержением отдался весь делу спасения Италии. Но он не соглашался действовать заодно с Мадзини, ставшим в главе римского движения, хотя оба они с равной самонадеянностью твердили знаменитую фразу: *Italia farà da sé*[195].

Беспорядки в сардинской армии, несогласия между отдельными личностями, парали-

зовали энтузиазм и решимость итальянцев. Мало-помалу славные из деятелей и предводителей народного восстания потеряли доверие массы. Пий IX бежал в Гаэту, в Риме начались выборы депутатов. Гарибальди был выбран представителем Мачераты, и первый провозгласил республику в священном городе. Между тем Кавеньяк[196] (27 ноября 1848) сделал распоряжение об отправлении в Чивита-Веккию трехтысячного корпуса, защищать личную свободу папы. Провозгласив республику, Гарибальди отправился защищать Римские владения со стороны Неаполя. Войско его состояло из двухтысячного корпуса волонтеров. Главная квартира его была в Риети. Вот что говорит о нем Пизакане, бывший в это время офицером в римском войске.

Гарибальди в чине полковника стоял тогда в Риети. Он упорно отказывался соотноситься с правилами и постановлениями регулярного войска и придерживался старого партизанского образа действий. Это, конечно, могло бы немало повредить ему. Но он был одарен совершенно особенными, блистательными качествами соображения; он удивительно

умел воспользоваться обстоятельствами и обойтись небольшим количеством людей, бывших в его распоряжении; на него смотрели, как на единственную, драгоценную тогда личность, и тем больше ожидали от него, что видели ясно его врожденную способность к этому роду войны. Военный комитет, конечно, хорошо понимал это; разделив на две части тогдашнее римское войско, он вручил Гарибальди начальство над одной из них, состоявшей из волонтеров и организованной наподобие партизанских отрядов. Лично храбрый и добродушный, никогда не покидавший поля сражения, спокойный и рассудительный в самые трудные минуты, Гарибальди скоро стал кумиром своих солдат. Притом самая наружность, умение владеть собой, привычки, даже костюм – всё это способствовало к тому, что его считали каким-то волшебным, таинственным существом.

Когда расположение Франции к Италии переменилось, когда Удино[197] с новым войском готов был высадиться в Чивитта-Веккию, римский триумвират отозвал Гарибальди из Риети.

Всем известно, что ни усилия, ни военные достоинства героя не спасли Рима, и 2-го июля 1849 г. Гарибальди объявил собранию, что дальнейшее сопротивление невозможно. Триумvirат сложил с себя верховную власть, и город сдался.

Гарибальди собрал оставшееся в Риме войско на площади Св. Петра и предложил им уйти из города, занятого уже иностранцами. Он намерен был возмутить провинции, где народ готов был на все, чтоб избавиться от чужеземного ига: «Солдаты, – сказал он, – я могу обещать вам только голод и жажду; земля будет вашей постелью, солнце будет жечь ваши усталые члены. Платить мне вам нечем. Вместо шатров и пищи – постоянные тревоги, усиленные переходы и работа штыками. Кто хочет славы и спасения Италии, тот только может следовать за мной!».

Более 4 тысяч человек отвечало на его воззвание.

Гарибальди с удивительной распорядительностью успел снабдить свое войско всем крайне необходимым и заложил часы для собственных своих потребностей. Анита по-

следовала за ним, отослав в Ниццу к своей теще трех своих сыновей.

Теснимые со всех сторон, пробирались они непроходимыми местностями и скоро должны были оставить римскую территорию и перейти в Тоскану. Там тяжесть их положения увеличилась. Австрийцы неутомимо искали и ловили их как диких зверей, и не представлялось другого средства к спасению, как укрыться в маленьких владениях. Все дороги были заняты австрийцами. Повсюду объявлены были приказы Радецкого, которыми запрещалось не только оказывать какую-либо услугу беглецам, но вообще входить с ними в какие бы то ни было сношения. Некоторые из окрестных поселян, которых подозревали в том, что они служили проводниками Гарибальди, и другие, которые будто бы дали ему убежище, были расстреляны австрийцами.

Во время этих трудных переходов Анита умерла в лесу на руках своего мужа и друга его болонца Уго Басси, который вскоре сам попался в руки австрийцев.

Им, наконец, удалось пробраться в Сан-Марино. Тамошние власти взялись быть по-

средниками между им и австрийцами. Некоторые из его приверженцев сдались на капитуляцию, которой условия австрийцы не позаботились сдержать. Гарибальди с остальными упорно стремился в Венецию – тогда последний оплот итальянской независимости.

Но и этот план им не удался, несмотря на нечеловеческую стойкость неустрашимого вождя. Самая природа, казалось, действовала заодно с австрийцами. Поднялись бури, но Гарибальди успел пробраться в море и разместить на барки свою небольшую экспедицию. Большая часть этих барок бурей были загнаны в Триест. Гарибальди уцелел один из 4 тысяч, и под разными переодеваниями успел снова пробраться в Ниццу. Но правительство сардинское, несколько обеспокоенное его дружескими отношениями к Мадзини и его популярностью, приказало ему оставить итальянскую территорию. Гарибальди отказался от всякого денежного вспомоществования и возвратился в Америку, но на этот раз он исключительно посвятил себя мирным коммерческим занятиям.

Вот что рассказывает о нем один его сооте-

чественник, видевший его в это время в Нью-Йорке:

«В 1850 г., в одной из тесных улиц Нью-Йорка, возле небольшой свечной фабрики, была табачная лавочка, которую содержал шестидесятилетний генуэзский эмигрант, с красивым и благородным лицом, с экзальтированной речью. Это был Иосиф Авеццана, когда-то генерал, военный министр, член правительства; теперь, для поддержания своего существования, он продавал дешевые сигары. Один из друзей Гарибальди, моряк, бывший в это время в Нью-Йорке, посетил при мне знаменитого партизана. В этой табачной лавочке, он рассказывал нам, что нашел Гарибальди на его фабрике с засученными рукавами, занятого у котла с растопленным салом. «Я очень рад вас видеть, сказал ему Гарибальди, и очень хотел бы пожать вашу руку, но мои все в сале. Кстати, вы застаете меня в очень решительную минуту: я только что разрешил очень важную задачу навигации, очень долго меня занимавшую; и – странное дело! – меня навел на эту важную формулу вот этот котел с салом. Но не в том дело! А,

право, я очень рад этому разрешению, потому что я намерен еще погулять по морю, и надеюсь, мы с вами встретимся».

Эти строки я взял из биографии Гарибальди, написанной Леопольдо Спино[198], которую можно рекомендовать желающим покороче ознакомиться с разными подвигами этого великого человека.

Некоторые из биографов Гарибальди утверждают, что во время пребывания своего в Южной Америке (1852–1854) Гарибальди командовал перуанским флотом. Смело могу опровергнуть это показание. Он действительно командовал, но только коммерческим судном, принадлежавшим соотечественнику его Денегри, и на нем совершил путешествие из Лимы в Китай. Потом, на американском судне, он совершил рейс из Лимы в Геную; наконец принял команду над торговым транспортом, правильно плававшим между Ниццей и Марселем, и с особенным вниманием исполнял на нем трудную должность капитана и суперкарга[199]. Таким образом, благодаря экономии и умеренности своих привычек, он составил себе капиталец, который употребил

на покупку небольшого клочка земли на Капрере.

Между тем политическое положение Италии изменилось. Освобождение этой страны снова стало представляться не мечтой, и горячие патриоты снова обратили все свои старания на достижение давно предположенной цели. Виктор-Эммануил и Пьемонт стали во главе движения, и Гарибальди примирился окончательно, – к большому сокрушению радикалов, дурно понимавших этот поступок, – и с существующим в Пьемонте образом правления, и с Савойским домом. Гарибальди был деятельным членом почти всех организованных тогда комитетов и патриотических обществ; в прокламациях своих он приглашал всех горячо преданных народному делу действовать заодно с Пьемонтом и с *regalantuomo*[200], которого он называл единственной надеждой Италии.

Подвиги Гарибальди во время последней войны 1859 г. и его поход в Южную Италию слишком хорошо известны всей Европе. Его несчастный второй брак известен, к сожалению, не менее, а потому я ничего не буду при-

бавлять к сказанному выше[201].

У Гарибальди нет соперников, нет завистников; при первом взгляде на него все понимают, что такая громадная популярность дается не даром. Сам Гарибальди в обращении со всеми безразлично прост, но мало с кем он откровенен вполне. При устройстве новой администрации в Неаполе, Гарибальди доверял некоторым лицам, доказавшим впоследствии, что они не заслуживали его доверия. Но действительно ли обманулся на их счет диктатор, или просто не видел вокруг себя людей более достойных? Что он любит человечество, в этом не может быть сомнения, но постоянно ровная манера его обращения со всеми, часто заставляла меня задавать себе вопрос: верит ли он в людей? Знаю, по крайней мере, что он имеет полное право в них не верить.

XXV. Анита Гарибальди

Я рассказал уже кровавую свадьбу Гарибальди с Анитой. Все, знающие имя Гарибальди, знают безраздельную любовь к нему, геройское самоотвержение и не женскую твердость его жены. К сожалению, жизнь этой необыкновенной женщины мало кому известна, и я на этот раз не принадлежу к избранному меньшинству.

Смуглая как креолка, с правильным и строгим лицом, с огненными глазами и чудными, черными как смоль косами, она навсегда врезывалась в память тому, кому хоть раз удалось видеть ее живую, оригинальную физиономию. Гарибальди, даже во время второй своей несчастной любви, не мог забыть ее прелестный образ. Она была верной спутницей его во всех опасностях, во всех несчастиях и треволнениях его жизни.

Не имея сведений об ее жизни, я могу рассказать несколько подробностей по крайней мере о ее смерти.

После неудачи в Сан-Марино, Гарибальди и его последователи всякими проселками и

непроходимыми местами пробирались к морю. Окрестные рыбаки волей-неволей вынуждены были помогать им в опасном предприятии. Чтобы поскорее освободиться от них, рыбаки отдали им четыре небольшие лодочки за очень умеренную цену. В этой небольшой флотилии очень удобно разместилась вся экспедиция. В одну из барок сел Гарибальди с Анитой и с своим штабом, состоявшими из Чичеруаккио[202] с двумя сыновьями и священника Уго Басси.

Австрийские пароходы скоро однако же напали на след беглецов и начали деятельную за ними охоту. Пришлось приставать к берегу среди всевозможных трудностей и искать убежища в скалах и лесах. Каждый действовал сам за себя. Гарибальди, вместе с Анитой и одним очень преданным ему офицером, пробрался до небольшой рыбацкой деревушки, переделался в крестьянское платье и отправился лесами по направлению к Равенне.

Во время этого трудного перехода, Анита, ослабленная всевозможными лишениями, перенесенными ею в последние дни, изнемог-

ла совершенно. До сих пор любовь ее к мужу и горячая привязанность к народному делу служили ей значительной нравственной поддержкой и давали силы переносить все труды и страдания. Но скоро неизвестность на счет будущей судьбы своей и любимого мужа, страшная гибель многих близких ей людей, тоска по оставленным ею детям, с которыми она теряла надежду увидеться, парализовали ее нравственно, между тем как голод, холод и бессонница совершенно расстроили ее организм. Опасность ее положения стала очевидна для ее спутников.

Трое путников плелись шаг за шагом, от дерева до дерева, от леска до леска, не теряя надежды добраться наконец до Равенны, где они имели в виду хоть кратковременный отдых. Крестьяне забывали все угрозы и запрещения, и пособляли им, сколько могли. Рассказывают даже – чему впрочем трудно верить – будто даже полиция помогала им от времени до времени.

Австрийцы, с своей стороны, узнав через шпионов направление, куда скрылся Гарибальди, наполнили весь тот край пешими и

конными отрядами, которые охотились за путниками совершенно как за дикими зверями. Не раз враги уже совершенно нагоняли их, но те, собрав остаток сил, убегали снова и прятались в недоступные по-видимому приюты.

В одну из таких критических минут, Анита зашаталась на ногах, побледнела и едва не упала. Встревоженный Гарибальди схватил ее в свои крепкие руки, и с дорогой ношей на плечах, презирая все трудности и опасности, направился к ближней ферме, с намерением во что бы то ни стало доискаться безопасного и спокойного убежища. Едва добежал он до первого жилища, как узнал, что австрийцы заняли всё в округности, и что ему не оставалось другого средства к спасению, как укрыться в чаще леса. К счастью, встретившийся ему по пути фермер, узнав имя беглеца, тотчас же уступил ему свой *баррогино* (маленький итальянский кабриолет), с свежей и здоровой корсиканской лошадкой. Уложив туда умиравшую Аниту и погоняя без жалости бедного коня, к вечеру добрался он до маленькой кашины, очень близко от Равенны.

Анита была при последнем издыхании, и Гарибальди решился остаться здесь на ночь и отправился искать убежища в кашине.

Увидев любимого своего героя в таком отчаянном положении и забыв все запрещения австрийского проконсула, какой-то старый контадин уступил свое жилище беглецам и принялся ухаживать за умирающей. Но всё было уже кончено для Аниты. В ночь она умерла.

Терять времени было невозможно. Гарибальди снова взял в свои руки едва охолодевший труп своей подруги и отнес его далеко в поле, где зарыл под кустом тайно от всех.

Наутро австрийцы заняли кашину, но Гарибальди был уже далеко. Они узнали однако могилу Аниты, потому что ее американская собака не покидала места, где было зарыто ее тело. Каким-то образом они отыскали между окрестными контадинами виновного в укрытии мятежников и расстреляли его на могиле Аниты.

А что случилось с другими двумя спутниками Гарибальди, спасшимися на лодке вместе с ними?

Уго Басси пробирался по направлению к Комаккио; местность была ему хорошо известна, и он был уже не далеко от этого города, где ожидал его дружеский прием и помощь со стороны очень близких ему людей. Дорогой он зашел в дом к одному давнишнему своему знакомому, которого считал своим другом. Там он был схвачен, связан по рукам и по ногам и отправлен в Болонью, где и расстрелян через несколько дней. На следующий день яма, в которую было брошено его изуродованное тело, была усыпана цветами.

А Чичеруаккио пропал без вести. Один из гарибальдийских офицеров, бежавший из Анконы, где его содержали пленным, рассказывал, что будто бы он видел, как Чичеруаккио был расстрелян на бастионе этой крепости [203].

Итак Гарибальди, вышедший из Рима с 4000 пехоты и 800 гвидами, очутился наконец один. Верная его Анита умерла, и ему не оставалось даже печального утешения видеть ее могилу; у него почти отнята была возможность поминать ее: положение его было так затруднительно, что нужны были все усилия

его соображения, чтобы на каждом шагу избегать опасности. Он целые дни проводил в дупле какого-нибудь дерева и ночью неутомимо шел вперед. Так прошел он всю Тоскану и наконец в маленьком челноке достиг Порто-Венере (незначительный порт близ Генуи), где в первый раз увидел себя в безопасности после очень долгого времени.

Это тяжелое путешествие продолжалось тридцать пять дней. Часто его спасали окрестные жители, готовые даже подвергнуться всей тяжести австрийской мстительности. Гарибальди ничем не мог тогда вознаградить их за преданность и самоотвержение, но каждому из них он оставлял на память записку, – и эти документы теперь еще свято хранятся во многих нищенских хижинах Тосканы.

XXVI. Гарибальдийцы

Тысяча большей частью молодых людей, слепо доверившихся своему вождю, начали трудное и опасное предприятие. Они не имели никаких форменных отличек, ни знамени, ни правильной организации и дисциплины. Гарибальди и общая всем любовь к независимости Италии были единственной связью между ними. Когда Гарибальди овладел Палермо, число его последователей значительно увеличилось. Но внутреннее устройство этой армии оставалось то же. Все единогласно называли гарибальдийцами этот корпус волонтеров, так походивший с виду на партизанскую шайку и вместе с тем имевший всю нравственную силу и единство Наполеоновской великой армии.

Впоследствии уже, когда недолговременная стоянка в Мессине дали возможность сколько-нибудь заняться водворением какого-нибудь порядка, гарибальдийцы все были одеты в красные рубашки, — а до тех пор в этом костюме ходил только сам Гарибальди и ближайшие к нему офицеры.

Во всей Италии открыты были, с ведома правительства, «комитеты соединения», которые вербовали новые партии волонтеров, экипировали их на собранные по подписке деньги, и маленькая армия, несмотря на многочисленные и почти ежедневные потери, росла с каждым днем.

Во время осады Капуи, число гарибальдийцев доходило до 10 тысяч, из которых едва только 6 тысяч были под ружьем в критическую минуту битвы 1-го октября. Впрочем, эти 6 тысяч стоили двенадцати: они смогли устоять против неприятеля, вчетверо превышавшего их числом.

В гарибальдийском войске никогда не было полных и правильных списков; переключки бывали заводимы некоторыми усердными капитанами, но всегда безуспешно. Вообще не было никакого принудительного средства удерживать солдат на их местах. Про офицеров и говорить нечего: каждый был, где хотел, и некоторые роты в самые решительные и трудные минуты не выдвигали и в глаза своих предводителей.

Вследствие этой-то свободы, или, правиль-

нее, беспорядка, в огонь шел тот, кто хотел, но которые уже пошли, те стояли крепко.

Тут были люди всех наций, всех сословий. Я несколько раз, обходя аванпосты, видел негра, не говорившего вовсе по-итальянски, но с большим успехом исполнявшего должность сержанта. В одной из рот экспедиции Кагель-Пульчи, в числе солдат отборной стрелковой роты, был один глухонемой. В деле при Каяццо мне случилось быть возле него, и глядя, с каким бешенством он колотил направо и налево то прикладом, то ружьем, — я невольно вспомнил Товкача из *Тараса Бульбы*. Юноши самых знаменитых и богатых итальянских фамилий служили наравне с романьольскими пастухами и калабрийскими дикарями, и всякий только личным своим достоинствам был обязан повышением и отличиями.

Так называемые «ученые должности», то есть должности горнистов, барабанщиков, трубачей и фурьеров, были почти все заняты старыми пьемонтскими солдатами, или отслужившими свой срок, или дезертировавшими из рядов регулярного войска. Но вооб-

ще старых воинов было очень незначительное число; в роте едва можно было найти до двадцати человек с усами и с бородой; остальные все были юноши, часто не старше четырнадцати лет, а многие на вид казались двенадцатилетними детьми. И эти-то больше всего отличались в минуты опасности. Герои 48 года и других войн независимости занимали старшие офицерские места. Некоторые из них, отклонявшие всякие почести, поступали рядовыми в генуэзские карабинеры.

Войско это, составленное из отборных людей и большей частью из первой тысячи, пользовалось особенным благорасположением Гарибальди, которое было заслужено подвигами отчаянной храбрости и самопожертвования. Когда генуэзские дамы прислали диктатору богатое знамя, вышитое их собственными руками, он отдал его генуэзским карабинерам, в полной уверенности, что знамя это не достанется в руки врагов. Оно и уцелело, но изящный рисунок несколько попорчен очень не симметрически расположенными дырами.

Как и все партизаны, Гарибальди был бе-

ден кавалерией. Настоящая сила волонтеров – штыки. Пехотному солдату нужно гораздо меньше школьного или парадного учения, а в устойчивости и храбрости гарибальдийцы мало кому уступали. В Мессине куплено было незначительное число лошадей, из которых бóльшая часть розданы офицерам главного штаба и адъютантам. Там же сформировано было до шестидесяти человек *звидов* (колоновожатых), распределенных между штабами отдельных корпусов и бригад. Позже уже, в Неаполе, образован был эскадрон венгерских гусар, на лошадях, отбитых большей частью у неприятеля. Тогда же в Палермо организовали было эскадрон конных егерей под поэтическим названием *Diavoli Rossi* (красных чертей). Но не могли найти нужного количества лошадей, и только взвод из этого эскадрона был отправлен под Капую, куда, впрочем, он пришел поздно и не принял никакого участия в военных действиях. Та же участь постигла формировавшийся в Неаполе полк улан и английский конный отряд генерала Данна.

Это небольшое число кавалеристов оказа-

ли очень важные услуги. Венгерские гусары рекогносцировали местности во всех направлениях и часто беспокоили неприятеля.

Артиллерия была еще слабее, а об инженерных корпусах читатели имели возможность составить себе довольно определенное понятие из предыдущих глав моих записок.

Из всех партизанских войн, я думаю, ни одна не привела к таким многозначительным результатам, как поход Гарибальди в Южную Италию, и гарибальдийцы обеспечили себе довольно почетное место в истории партизанских отрядов. Теперь от этого немногочисленного легиона осталось только название. Декретом правительства запрещено оставшим гарибальдийцам носить красную рубашку. С тех же пор, как кардинал де Мерод [204] и экс-король неаполитанский стали наряжать в этот костюм наемных разбойников, никому из последователей Гарибальди не было бы приятно показаться на улице в своем боевом наряде. Некоторые, правда, лишённые средств купить себе другое платье, еще до сих пор носят воду и чистят сапоги, у кофеен Палермо и Неаполя, в красных рубашках; но жи-

тели этих городов стараются всячески доставить им или более безбедное положение, или более приличный наряд.

Тотчас по окончании военных действий, бóльшая честь гарибальдийцев взяли отставку. Правительство дало им в вознаграждение шестимесячное их жалование, которого очень многие еще не получили. Те же, которые изъявили желание остаться, должны были подвергнуться экзаменам. Для рассортировки их назначена комиссия, на половину из офицеров регулярной армии и из старших гарибальдийских офицеров, которых правительство утвердило в заслуженном ими на поле сражения чине. Комиссия эта до сих пор еще не окончила своего дела. Из принятых на службу гарибальдийцев должна быть составлена Южная армия. Правительство, с своей стороны, намерено пополнять ее состав восьмьюдесятью солдатами регулярного войска на каждый полк. Начальство этого преобразованного корпуса вверено Сиртори, бывшему начальнику штаба Гарибальди. Эта Южная армия, вероятно, скоро заставит говорить о себе, — но мой сюжет пока гарибальдийцы

торжественно окончившие начатое ими дело и возвратившиеся к мирным занятиям. Одни из них, сняв полковничьи галуны, сидят за конторками своих табачных лавок, другие с подвязанной рукой или с черной повязкой на глазу возвратились в кузницы или другого рода мастерские; некоторые навсегда оторванные от своего ремесла, как я сказал уже выше, чистят сапоги, или продают воду в Палермо и Неаполе, и немногие продолжают барскую жизнь в своих замках или дворцах, украшающих столичные города освобожденного ими королевства. Из иностранцев, кто мог, вернулся на родину, а некоторые определились в папские зуавы и готовы идти против своих бывших сотоварищей, когда Гарибальди снова кликнет клич и позовет в ряды своих, рассеявшихся по лицу земли сподвижников.

Я считал обязанностью упомянуть и об этих некоторых, но спешу прибавить, что их было очень и очень немного, и что никак не по этим немногим следует судить о гарибальдийцах.

Я не знаю, были ли когда-то в действитель-

ности те блаженные времена, о которых говорят теперь очень много, когда будто бы одна чистейшая привязанность к принципу, к идее двигала массы, когда всякий партизанский отряд составлялся из людей горячо преданных своему делу. Знаю только что теперь, если кто и жертвует собою за идею (о чем обыкновенно не преминет объявить во всеуслышание), то всем, видящим это самопожертвование чудится, что идея эта имеет некоторую весьма существенную привлекательность, в роде например той, за которую еще так недавно ополчился дон Джиджи[205].

Немудрено, что и между гарибальдийцами немало было людей *пропащих*, которым закрыты были все другие пути и которые готовы были при первом удобном случае перейти на сторону того, кто больше дает. Но уже по одному тому, что Гарибальди не принадлежал к числу много дающих, таких личностей было очень мало в рядах его армии. Первое время все служили почти без жалования и постоянно нуждались в необходимом. Несмотря на отсутствие правильного устройства и строгой дисциплины, окрестные жите-

ли никогда не жаловались на угнетения и на неизбежные в подобных случаях грабежи. Гарибальди в этом отношении шутить не любил; во время кампании 1859 г. он приказал расстрелять одного из своих солдат, родом романьола, укравшего какие-то пустяки у одного из окрестных контадинов. Солдаты знали характер своего вождя и нередко терпели голод и нужду, но ни разу не поживились курицей на счет мирных жителей.

Под боком была армия Ламорисьера, где солдатам платили хорошо и где вовсе не царствовала такая обязательная честность. Французские зуавы в большом количестве стекались под знамена своего соотечественника. Приманкой им служила, конечно, не горячая привязанность к святейшему отцу и его временной власти. У Гарибальди этих зуавов было не больше полроты и, конечно, это были весьма немногие из зуавов, которые еще сколько-нибудь разбирают кому и за что отдадут они свою жизнь. Зуавы эти, впрочем, хуже всех других подчинялись строгим правилам гарибальдийской армии; совершенно особенные понятия о собственности не раз за-

влекали их в приключения, и порой они хвалялись геройскими подвигами *присоединения* (*annexion*), как называли они этого рода проделки.

Меня интересовало узнать, с которых именно пор зуавы стали называть этим именем геройские подвиги грабежа и кражи? Прежде, или после присоединения Савойи и Ниццы?

Офицеры и чиновники интендантства и военные комиссары, хотя бóльшая часть природные итальянцы, отличались также истинно зуавским взглядом на собственность. В самом начале военных действий интендантство состояло из майора Ачерби и двух-трех выбранных им самим офицеров. Денежные средства были очень незначительны, и между тем войско постоянно было снабжено предметами первой необходимости. В то время над Ачерби не было контроля, он никому не представлял отчетов. А между тем никому и в голову не пришло бы обвинить майора в неправильном или нечестном употреблении сумм, назначенных на содержание войска. Каждая копейка была налицо, и не раз благо-

родный интендант из собственного кармана пополнял дефицит кассы, бывшей до взятия Мессины в самом бедственном положении.

Но по прибытии в Неаполь, интендантство было устроено в своем полном составе. Офицеры были набраны из людей опытных, бухгалтеров разных магазинов и контор. Ачерби по-прежнему оставался главным интендантом; но, бедный, скоро сам запутался в ежедневно представлявшихся ему очень подробных счетах. Касса, по-видимому, находилась в цветущем состоянии, а войско стало терпеть нужду больше против прежнего. Интендантство между тем вело дела очень экономически, закупало и заказывало разные предметы для войска в больших размерах. Так, например, однажды было закуплено до 300 тысяч пар солдатских башмаков, о чем торжественно было объявлено циркуляром по армии, никогда не превышавшей 40 тысяч человек. В то же самое время, солдаты, не имевшие средств экипировать себя сами, ходили босые, или снимали обувь с убитых бурбонских солдат. Комиссары и интенданты жили на славу в Неаполе, разъезжали на кровных лошадях по

Villa Reale и пленяли весь город живописной роскошью своего партизанского наряда.

«*Il faut que ces choses suivent leurs cours régulier*»[206], – сказал мне какой-то капитан бельгиец, когда я торопил раздачу теплых шинелей на артиллерийскую команду, дрогнувшую в своих красных рубашках в холодные сентябрьские ночи.

XXVII. Отставка

Дело дошло до развязки. По отъезде Гарибальди, Сиртори, бывший начальник штаба, был назначен главнокомандующим над гарибальдийцами, переименованными в Южную армию. Правительство торопилось распустить солдат, и их ежедневно отправляли большими партиями в Ливорно, Геную и калабрийские порты, наградив на дорогу шестимесячным жалованьем. Калабрийцы потребовали увольнения тотчас по отъезде Гарибальди, который обещал отпустить их домой по окончании военных действий и оставить в их руках оружие. Министерство не согласилось исполнить это обещание диктатора. Неудовольствие в Южной армии было все-

общее. По взятии Капуи, пьемонтские войска вошли туда со знаменами и с барабанным боем, а гарибальдийцы безоружные шли за ними, что их очень оскорбило. Начались неприязненные отношения между двумя армиями. В Казерте, в Аверсе и в других городках, дело доходило до кровавых стычек. Пьемонтские офицеры обращались несколько презрительно с волонтерами, и ходили слухи, будто правительство не признает чинов, розданных Гарибальди. Королевский декрет, последовавший тотчас за взятием Капуи, мало успокоил волнение. Объявлено было прежде всего, что за офицерами признается только тот чин, на который они имеют форменный диплом за подписью диктатора или военного министра. В последнее время, в гарибальдийском войске было очень много повышений, хотя и заслуженных, но формально еще не утвержденных. Гарибальди во время самой битвы производил в чины отличившихся; его адъютанты записывали их имена, тем всё и кончалось.

В регулярное войско неохотно принимали гарибальдийцев. Наконец самая денежная на-

града была иначе перетолкована, и многие ею оскорбились.

«Министерство принимает нас за швейцарцев Фердинанда II[207] или за бельгийцев Ламорисьера», был общий голос.

Гарибальдийцы перешептывались между собою и враждебно глядели на новые власти. Со дня на день ожидали вспышки. Положение было затруднительное. Но Гарибальди своим примером указал дорогу, и все истинные гарибальдийцы последовали за ним. Остаться было незачем.

Штаб Сиртори помещался в большом казенном здании на *Strada di Chiaia* против *S. Agata*; у ворот стояли пьемонтские часовые. Офицеры были по большей части французы и бельгийцы. Меня встретил молодой поручик с завитыми усиками, в фантастическом гусарском костюме. Он ни слова не говорил по-итальянски, но зато по-французски был очень разговорчив. Как-то между делом он сообщил мне, что служил в *chasseurs d'Afrique*[208] и еще несколько очень интересных подробностей о своей особе. Я передал ему просьбу об отставке и надлежащие документы, и полу-

чил любезное приглашение явиться завтра.

Назавтра я опять явился; оказалось, что разговорчивый поручик успел уже потерять мою просьбу и предложил мне написать другую. На этот раз, впрочем, он был очень занят. Около десяти гарибальдийцев, искалеченных и исхудалых, желали видеть главнокомандующего; но тот вовсе не был расположен дать им аудиенцию, и мой поручик из сил выбивался, чтобы выгнать непрошенных гостей. Те не уступали, шумели и настойчиво требовали Сиртори, или дежурного генерала. Напрасно бедный француз коверкал свой родной язык, стараясь придать ему вид итальянского, — его не понимали. Он пригласил какого-то сержанта гвидов, очень щегольски одетого и говорившего по-французски, быть переводчиком. Тот объявил просителям, что Сиртори необыкновенно занят, и чтоб они шли спокойно и оставили свои просьбы и документы у дежурного офицера. Но, к сожалению, офицеры знали уже участь, которая постигнет их просьбы и документы, если они оставят их разговорчивому поручику, и не соглашались уйти, не выдав Сиртори. Их пригласили

явиться завтра, но и это для них было уже не ново. На шум выбежал какой-то маленький майор в халате и в военной фуражке. Он очень негодовал на нарушавших спокойствие главнокомандующего, и притом в собственной его квартире. Я из дилетантизма присоединился к гарибальдийским офицерам, которые насмешками встретили резкую речь майора.

Через несколько минут вышел сухой черноволосый мужчина в полковничьем мундире, правый рукав которого был пристегнут к пуговке. Это оказался полковник Абрुццези, *factotum*[209] Сирториева штаба. Он любезно, с ломбардским произношением, спрашивал у каждого, что ему было нужно. Сцена эта сильно напомнила мне капитана Копейкина[210]. Около полудюжины Копейкиных «проливали в некотором роде кровь за отечество», «лишились руки и ноги» и пр., и «пришли узнать, не будет ли какого вспомоществования». Им обещали очень щедрые возмездия. Когда Абруццези подошел ко мне, я решительно не знал, что ему сказать, я не имел никакой просьбы к нему. Однако же, не смущаясь, я подал ему бу-

маги, которые держал в руках, и просил покорнейше, чтобы меня по возможности в скором времени выпустили в отставку, так как некоторые (я сам не знал какие именно) очень важные дела требуют моего присутствия во Флоренции. Полковник очень любезно предложил сейчас же дать мне отпуск и вместе с тем обещал, что отставка будет готова через несколько дней.

Через неделю я снова явился в штаб Сиртори; об отставке еще не было никаких известий. Я пришел опять через несколько дней, то же самое. Встретив как-то Абрुццези, я обратился к нему. Он потребовал справочную книгу и разыскал мою просьбу и приложенные к ней документы.

– Вам нужно отправиться с этими бумагами в министерство, – сказал он мне, – и подать там письменную просьбу.

– Это зачем, полковник? Отставки должны быть выданы нам от имени главнокомандующего.

– Да, но вам следует пенсия или какая-либо другая награда, а этим распоряжается министерство.

– Но ведь я прошу отставку, а не пенсию или награду.

– Всё равно; вам нужно обратиться в министерство.

Козенц в это время уже оставил должность министра, и еще ему не было назначено преемника. Делами заведовал, в качестве директора пьемонтский полковник Куджа[211], впоследствии произведенный в генералы и исправлявший должность военного министра по отставке Фанти[212].

Куджа строго придерживался пьемонтских постановлений и доступ к нему был очень легок каждому офицеру. Он сидел в маленьком кабинете, в военном сюртуке нараспашку. У него одна из тех толстых физиономий, которые как-то и добродушны и хитры вместе.

Я объяснил ему, что прислан к нему из штаба Сиртори, но что сам решительно понять не могу, зачем штабу было благоугодно заставить меня сделать лишнюю прогулку.

Куджа очень нелестно отозвался о нашем главном штабе, сделал на полях моей просьбы заметку в саркастическом тоне и препроводил меня к Сиртори обратно.

Много пришлось мне погулять по лестницам разных военных администраций, пока наконец вождеденный лист не очутился в моем кармане.

XXVIII. Гаэта

Один из лучших пароходов «Messageries Impériales» стоял на рейде в Неаполе, готовый отправиться в Ливорно. Погода была убийственная; страшная трамонтана[213] дула в течение нескольких дней, и обыкновенно тихий Неаполитанский залив кипел и волновался на славу. Мягкие контуры Капри терялись в тумане. Я взял билет и отправился.

В большой каюте первого класса сидели несколько человек пассажиров обоего пола. Особенное внимание обращал на себя черноргорский князь в живописном костюме. Куджа, отзывавшийся министерством в Турин, был тут же. Возле него увивался молодой капитан из интендантства. На нем была какая-то особенно щегольская форменная рубашка, турецкая шаль вместо пояса и множество цепочек и дорогих пуговок.

Меня тут же укачало на рейде, и я улегся

на диване в кают-компании. Тут пролежал я несколько часов в том неприятном положении, которое хорошо известно всем нервным сангвиникам, плававшим на пароходе в дурную погоду. Часов около 10-ти вечера мы остановились; качка уменьшилась, и я приподнялся. Мы были в Гаэте. Я кое-как выбрался на палубу. Ночь была темная и бурная. Крепость огромным черным пятном рисовалась на темном небе. Бомбы и гранаты неслись в воздухе, оставляя за собой огненную параболу. Куджа с видом знатока, объяснял черногорскому князю, как различать по виду разные виды ядер. Дамы ахали на разные тоны.

Пароход наш вез депеши к французскому адмиралу. Капитан тотчас же отправил шлюпку на адмиральский корабль. Шлюпка возвратилась и привезла приказание Барбье де Тинана[214] не сниматься с якоря без его приказания, и мы простояли под Гаэтой более 24 часов. На пароходе говорили, что французский флот намерен оставить Гаэту, что наш пароход привез ему приказ императора и пр. Многие пробовали было сондировать нашего капитана. Старый марселец отвечал не охот-

но и грубо.

Буря стихла понемногу; с рассветом замолкла бомбардировка, но часов около 10-ти началась с новой силой. Пьемонтцы отвечали довольно слабо, и крепость не умолкая поддерживала адский огонь.

Поздним утром мы увидели Франческо II, с семейством съезжавшего на барке с испанского парохода, на который он приезжал ночевать.

Мало-помалу из крепости стали являться пассажиры. Франческо II только что распустил своих швейцарцев, и они возвращались на родину или отправлялись в Рим предлагать свои услуги святейшему отцу. На наш пароход явилось несколько офицеров, в штатском платье, по большей части молодых, но с нахальными и грубыми манерами. С ними вместе явилось несколько духовных лиц и наконец какой-то маленький человечек пожилых лет, чисто одетый, с очень хитрым и умным лицом. Попы очень торопливо повскакали с мест при его появлении. Это был кто-то из приближенных экс-короля, отправлявшийся с тайными поручениями в Рим. С ним вме-

сте был какой-то молодой офицер швейцарец, обращавшийся с ним очень фамильярно. Все же остальные и сам капитан парохода относились к нему с особенным почтением.

За обедом мне пришлось сидеть рядом с таинственным незнакомцем. Долго он искоса поглядывал на мою красную рубашку. Капитан, предполагая что вид моего костюма не доставляет большого удовольствия сановитому пассажиру, откомандировал одного из офицеров сказать мне, чтоб я надел другое платье. Я вовсе нелюбезно встретил посланного и добавил, что со мной нет другого платья, а если бы оно и было, я предпочел бы остаться в своей форменной одежде.

Мой сосед обратился ко мне с какой-то непривлекательной улыбкой.

– Вам, конечно, неприятно будет расстаться с вашим мундиром: он напоминает вам блестящие подвиги, совершенные вашими товарищами и, по всей вероятности, вами самими.

Я заметил, что сам я блестящих подвигов не совершал, но что мундир наш очень удобен, и мне было бы неприятно расставаться с

ним особенно в дороге. Я сравнил одежду гарибальдийцев с мундиром бурбонских солдат, напомнил несколько фактов трусости этих последних и приписал их неудобству их экипировки.

Мой собеседник улыбнулся снова и притом так, что вся физиономия его ушла в усы и бакенбарды. Он принялся расспрашивать меня об устройстве нашей армии, о положении нашего войска во время битвы 1-го октября и проч. Он беспрестанно говорил мне самые пошлые комплименты и любезности. Я отвечал неохотно и с приметным раздражением. Сановник сделал искусную диверсию, обратил разговор на положение политических дел в Италии, на внутреннее несогласие и раздоры партий. Оттуда он вдруг перешел к Мадзини.

Он высказывал будто бы свой взгляд на этого замечательного деятеля итальянской независимости, так дурно оцененного в последнее время. Положим, сочувствие к нему было у этого господина притворством; но он с таким умом и знанием дела разобрал эту личность, что разговор мало-помалу приоб-

рел для меня особенный интерес.

Между тем обед кончился, и мы вышли на рубку закурить сигары. Там разговор наш продолжался с прежним увлечением.

– Не думайте, чтобы в нашем лагере было меньше людей преданных благу и независимости своей родине, нежели в вашем, – говорил он мне почти шепотом, – множество людей, подготовивших последнюю революцию, последовали за королем, когда дело разыгралось, – и они поступили честнее и бескорыстнее, например, г-на Либорио Романо. Настоящий исход дела предвидеть было не трудно. А ведь многие из ваших согласны с нами в том, что в этом нет еще спасения Италии. Франческо получил тяжелый урок, а кто знает, как выработается эта молодая личность, под влиянием такого тяжелого испытания?

Кто-то из пассажиров подошел к нам, и таинственный незнакомец прервал свою восторженную речь.

К утру мы пристали в Чивита-Веккию, где я расстался с своим собеседником.

Приложение

Джузеппе Гарибальди <Падение Бурбонов>

Лев Мечников участвовал в судьбоносных эпизодах Рисор джименто – в триумфальном вступлении Гарибальди в бывшую столицу королевства Обеих Сицилий, в кровавой битве у реки Вольтурно, которая переломила ход всей кампании, а также в политическом переустройстве Итальянского Юга. И сам глава «экспедиции Тысячи» – похода против бурбонцев – уделил этим событиям центральные части своих воспоминаний, ныне предлагаемые читателям: так возникает интереснейшая перекличка двух участников эпопеи – итальянского вождя и русского волонтера.

Текст Гарибальди, к которому даны наши новые комментарии, печатается с использованием первого полного русского перевода [215], однако для нашего издания он был сверен, уточнен и исправлен по авторитетному

оригиналу 1907 г.[216]

7 сентября 1860 г. Вступление в Неаполь

Вступление в эту великую столицу казалось скорее чудом, чем реальностью. В сопровождении нескольких адъютантов я прошел мимо рядов бурбонских войск, еще владевших городом, взявших при моем появлении «на караул» с большим, несомненно, уважением, нежели они это делали тогда перед своими генералами.

Седьмое сентября 1860 года! Кто из сынов Партенопее не вспомнит об этом славном дне? 7 сентября пала ненавистная династия, которую великий государственный деятель Англии назвал «Божьим проклятием»[217], и на обломках ее трона возник суверенитет народа, который по злему року обычно длится недолго. 7 сентября сын народа[218] в сопровождении своих друзей, именуемых адъютантами[219], вступил в гордую столицу «огненного всадника»[220], приветствуемый пол-миллионом жителей. Их пылкая и непреклонная воля парализовала целое войско, толкнула на уничтожение тирании, на утвер-

ждение своих законных прав. Их грозный голос смог бы укротить ненасытных и наглых правителей по всей Италии и повергнуть их в прах, а гневное восстание заставило бы всю Италию пойти по пути, который указывает ей долг.

Так восторг и внушающее уважение поведение великого народа 7 сентября 1860 г. обезвредили бурбонскую армию, владевшую еще фортами и решающими позициями в городе, откуда она смогла бы подвергнуть разрушению весь город. Я вошел в Неаполь, когда вся Южная армия находилась еще далеко, на пути к Мессинскому проливу. Неаполитанский король накануне покинул свой дворец и отступил в Капую. Монархическое гнездо, еще теплое, было занято освободителями народа, и грубые сапоги пролетариев топтали роскошные королевские ковры.

Это – пример, который должен кое-чему научить и правителей, лицемерно именующих себя защитниками народа. Пусть подумают, как улучшить человеческое существование, а не служат эгоизму, высокомерию, упрямству привилегированных классов, кото-

рые не исправляются даже тогда, когда доведенный до отчаяния народ, подобно льву, рычит у их дверей и готов смести их с дикой яростью, вполне оправданной, ибо это следствие той ненависти, что посеяли сами тираны.

В Неаполе, как и повсюду вдоль Мессинского пролива, население было охвачено воодушевлением и высоким чувством патриотизма и его благородное поведение не в малой степени содействовало нашим блестящим успехам. Другим весьма благоприятным обстоятельством для национального дела было молчаливое одобрение военного бурбонского флота, который мог бы задержать наше продвижение, если бы полностью к нам враждебно относился. Действительно, наши пароходы совершенно свободно перевозили части Южного войска и беспрепятственно двигались вдоль всего неаполитанского побережья, что было бы невозможно при абсолютной враждебности неприятельского флота.

Кавуризм[221] действовал в Неаполе еще усиленнее, чем в Палермо, и ставил на нашем пути немало препятствий. Как только распро-

странилась весть о вступлении пьемонтских войск в Папское государство, они стали вести себя самым вызывающим образом. Эта партия, опирающаяся на коррупцию, всячески старалась вредить нам. Сначала она льстила себя надеждой удержать нас по ту сторону [Мессинского] пролива и ограничить нашу кампанию одной Сицилией. В этих целях она призвала на помощь своего великодушного хозяина[222], и французское военное судно уже появилось в Фаро[223]. Однако здесь нам было на руку вето лорда Джона Расселла[224], который именем Альбиона заставил французского сира не вмешиваться в наши дела. Меня больше всего задело в махинациях этой партии то, что следы ее влияния я заметил у некоторых дорогих мне людей, никогда раньше не вызывавших у меня сомнений[225]. Неподкупные люди подпали под власть лицемерного, но ужасного предлога, пресловутой необходимости! Необходимости быть трусами! Необходимости валяться в грязи перед призраком эфемерной власти и не чувствовать, не понимать огромного, мощного желания народа, который любой ценой хочет

стать нацией и готов для этого уничтожить это подобие вредных насекомых и отправить их в навозные кучи, откуда они появились.

Эта партия, состоящая из подкупленных газет, жирных проконсулов и всякого рода паразитов, готовых подхалимничать и идти на любые мерзости, чтобы ублажить того, кто им платит, и предать своего господина, если тому грозит беда; эта партия, говорю я, напоминает мне червей на трупе; их количество знаменует степень разложения! Вы можете судить об испорченности народа по численности этих червей!

Сколько мне пришлось терпеть унижений от этих господ, которые после наших побед разыгрывали покровителей и не постеснялись бы лягнуть нас, как Франциск II, если бы мы были разбиты; эти унижения я, разумеется, не стал бы терпеть, если бы речь шла не о святом деле Италии. Вот, кстати, пример: ко мне прибыли два сардинских[226] батальона, которых я и не просил. Их подлинной целью было не дать улизнуть из богатой Партенопеи[227] добыче и оберегать ее под предлогом предоставить в мое распоряжение, если я по-

требую. Я так и сделал, но мне заявили, что необходимо согласие посла. Когда я обратился к последнему, он мне ответил, что для этого надо получить разрешение из Турина!

Мои храбрые товарищи сражались и победили на Вольтурно без помощи хотя бы одного-единственного солдата из регулярной армии и лишенные даже контингентов, которых благородная молодежь со всей Италии хотела направить ко мне, а Кавур и Фарини [228] всячески задерживали или интернировали.

Немногие дни, проведенные в Неаполе после радушного приема, оказанного нам благородными жителями, вызывали чувство отращения из-за происков и стараний прихвостней монархии, которые в конце концов лишь жрецы своего брюха: безнравственные и смешные людишки, стремившиеся самыми низкими средствами свергнуть этого бедняжку Франческьелло [229], виноватого лишь в том, что он родился у подножия трона: свергнуть, чтобы заменить его, и всем хорошо известно каким способом.

Все знают их интриги в связи с попыткой

организовать восстание еще до прибытия «Тысячи», чтобы лишить нас заслуги изгнания Бурбонов и приписать ее себе, а потом похваляться перед лицом всей Италии, не приложив к этому никаких усилий. Безусловно, всё это могло бы произойти, если бы монархия вместе с хорошими окладами вселила бы в своих агентов хоть немного мужества и чуточку меньше любви к собственной персоне. У этих приверженцев Савойского трона не хватало мужества свершить революцию, а так легко было воспользоваться плодами трудов других и присвоить себе заслугу, тем более, что эти люди мастера в такого рода делах. Зато как много у них было мужества, чтобы интриговать, строить козни, подрывать общественный порядок. Не сделав ни шага для успеха славной экспедиции, они теперь, когда всё главное было совершено и не стоило большого труда окончательно выполнить задачу, стали повсюду бахвалиться, что были нашими защитниками и союзниками, высадив в Неаполе отряды сардинского войска (понятно, для того, чтобы обеспечить себе добычу); они решили проявить свое расположе-

ние к нам, послав две роты своего войска через день после битвы на Вольтурно, 2 октября [230]. Всегда черная неблагодарность!

Обсуждали вопрос о свержении одной монархии и замене ее другой, не проявляя никакого желания и умения улучшить жизнь бедного народа. Надо было видеть, как эти прислужники всяких деспотий пускали в ход свое пагубное влияние, вносили разложение в армию, во флот, в министерства, в придворные круги, прибегая к самым беззастенчивым коварным средствам, чтобы достигнуть своей низкой цели.

Да, было противно это лавирование всех сателлитов, ставших союзниками неаполитанского короля, дававших ему советы, старавшихся уговорить его на «братские» переговоры и окружавших его предательством и кознями. Не дрожи они так за свою мерзкую шкуру, они могли бы в глазах Италии стать освободителями страны. Как хорошо, что им удалось утереть нос «Тысяче», а заодно – и всей итальянской демократии – думали они. Да, хватать лучшие куски очень любят эти освободители Италии в богатых ливреях.

Вполне понятно, что и в Палермо сеяли смуту кавуристы, возбуждая у населения недоверие к «Тысяче» и настаивая на немедленном присоединении. Они вынудили меня покинуть армию на Вольтурно накануне битвы и поспешить в Палермо, чтобы успокоить славных жителей, возбужденных ими. Мое отсутствие принесло Южной армии поражение при Каяццо – единственное в этом славном походе.

1 октября 1860 г.

Прелюдия к битве на Вольтурно

Вынужденный покинуть армию на Вольтурно и отправиться в Палермо, я дал указание генералу Сиртори, достойному начальнику генштаба, бросить наши части на коммуникации неприятеля. Это было исполнено. Но, по-видимому, Сиртори решил пойти на более серьезный шаг, будучи уверен, что успехи, достигнутые нашими отважными солдатами в предыдущих битвах, позволяют столь же успешно выполнить любое задание. Поэтому он решил занять Каяццо – деревню к востоку от Капуи на правом берегу Вольтурно. Но эта легко обороняемая позиция нахо-

дилась, однако, всего в нескольких милях от главных сил бурбонской армии, расположенной к востоку от Капуи, насчитывавшей примерно 40 тысяч человек и с каждым днем всё усиливающейся. Чтобы отвлечь внимание противника от нашей основной цели – занятия Каяццо, – была предпринята демонстрация на левом берегу Вольтурно, стоившая нам потери отличных бойцов, сраженных пулями из превосходных бурбонских карабинов, ибо наши находились на незащищенных позициях. Девятнадцатого сентября произошло сражение: Каяццо было взято[231].

Вернувшись в этот же день из Палермо, я стал свидетелем прискорбного зрелища: наши бойцы, жертвуя собой, порывисто ринулись, как это было в обычае у волонтеров, к берегу реки, но, не найдя там укрытия от сыпавшихся градом неприятельских пуль, вынуждены были повернуть и в беспорядке отступать под пулями, разившими их в спину. Таков был итог этой демонстрации на реке, чтобы отвлечь внимание неприятеля и облегчить занятие Каяццо. Но уже на следующий день превосходящие бурбонские силы атако-

вали Каяццо и наши немногочисленные части вынуждены были эвакуироваться и поспешно отступить к Вольтурно, потеряв при этом немало бойцов, павших под вражескими пулями или утонувших при переходе реки. Пожалуй, операция Каяццо была более чем простая опрометчивость – это отсутствие у командующего нужной военной смекалки.

Среди выбывших у нас из строя были: отважный полковник Тито Каттабене[232], тяжело раненный и взятый в плен, и доблестный Бози, сын майора Паоло Бози, тоже раненым попавший в плен, а имена других я запомнил. Итак, злосчастная операция Каяццо – новая Изерния[233], оживление и всё возрастающие в деревнях к северу от Вольтурно происки гидры духовенства, чему очень способствовали концентрация и усиление бурбонских войск у Капуи; наконец, интриги казуристов, всячески старавшихся нас дискредитировать, – всё это вместе взятое в какой-то мере деморализовало наших бойцов и подняло дух бурбонских частей. Для неприятеля всё это было счастливой прелюдией к задуманному генеральному сражению, последовавшему

вскоре – 1 и 2 октября.

Бурбонская армия, обессиленная большими потерями в Сицилии, Калабриях и Неаполе, отступила за Вольтурно и сосредоточилась в Капуе, которую она сильно укрепила и снабдила всем необходимым. Передовые колонны нашей Южной армии, едва подойдя к Неаполю, были направлены в Авеллино и Ариано для подавления реакционных восстаний, поднятых священниками и бурбонцами. Миссия эта была возложена на генерала Тюрра, и он ее блестяще выполнил. Покончив с волнениями в Авеллино, Тюрр получил новый приказ – занять своей дивизией Казерту и Санта-Мария. Другие наши отряды по мере вступления в Неаполь и после непродолжительного пребывания в столице, также направлялись в сторону Казерты и Санта-Мария. Дивизия Биксио заняла Маддалони, прикрывая главную дорогу в Кампобассо и Аbruццы и образуя правый фланг нашей маленькой армии. Дивизия Медичи[234] заняла гору Сант-Анджело, господствующую над Капуей и Вольтурно, и получила потом подкрепление, состоявшее из вновь организован-

ных отрядов под командой генерала Авецца-на. Одна из бригад дивизии Медичи под командой генерала Сакки заняла северный склон горы Тифате, обращенный к Вольтурно. Все эти боевые силы образовали центр нашей армии. Дивизия Тюрра заняла Санта-Мария, образовав наш левый фланг. Наконец резервы под командой начальника генштаба, генерала Сиртори, разместились в Казерте.

Битва на Вольтурно

Первого октября утренняя заря осветила на равнинах древней столицы Кампаньи жестокую схватку, братоубийственную бойню. На стороне бурбонских войск находились, правда, многочисленные чужеземные наемники: баварцы, швейцарцы и другие, привыкшие в течение многих столетий рассматривать нашу Италию как курорт или бордель. А это отребье, благословляемое священниками и под их руководством, грабило предпочтительно итальянцев, которых наши пастыри приучили стоять на коленях. Но к великому сожалению, большинство сражавшихся у подножья Гифате, подстрекаемое к взаимному убийству, состояло из сыновей несчастной

земли. Только одних вел молодой король – отроде преступника[235], а другие защищали святое дело своей родины. Со времен Ганнибала, победителя гордых легионов, до наших дней равнины Кампаньи не видели битвы более ожесточенной. И долго еще будет поселянин, взрыхляющий своим плугом плодородную землю, задевать кости, рассеянные там человеческой враждой.

Вернувшись из Палермо и обходя ежедневно наши позиции, господствующие над Сант-Анджело (откуда был ясно виден вражеский лагерь, расположенный к востоку от города Капуи и на правом берегу Вольтурно), я понял, что неприятель готовится к решительной битве. Увеличив насколько возможно численность своих войск, ободренные частичным успехом, враги готовились перейти в наступление.

Со своей стороны мы предприняли кое-какие оборонительные меры которые оченьгодились у Маддалони, на Сант-Анджело и особенно у Санта-Мария, где это было крайне необходимо, так как наши позиции находились на открытой равнине, лишенной есте-

ственной защиты[236]. Наша боевая линия имела свои недостатки, она была слишком растянута – от Маддалони до Санта-Мария.

В Капуе были сосредоточены главные вражеские силы, образовавшие центр его армии. Оттуда неприятель мог в любой час ночи двинуться на наш левый фланг, отстоящий от города всего на 3 мили, и опрокинуть его прежде, чем наши другие части или резервы успели бы подойти на помощь. Сант-Анджело, центр нашей боевой линии, был естественной укрепленной позицией, но нам нужно было располагать гораздо большим временем и большим числом людей, чтобы соорудить оборонительные укрепления, удержать эту обширную площадь. Однако над Сант-Анджело возвышается высочайшая гора Тифате, господствующая над всей местностью, и, окажись она в руках неприятеля, нам пришлось бы туго. Важнейшие позиции у Маддалони должна была удерживать дивизия Биксио, иначе враг, перейдя Вольтурно в верховьях и направившись с большими силами по дороге Маддалони – Неаполь, через несколько часов очутился бы уже в столице,

оставив нас у Капуи в низовьях Вольтурно.

Резервы оставались в Казерте; они, конечно, были немногочисленны, если учесть, что нам приходилось занимать столь растянутую линию фронта. Вдобавок нам пришлось выделить отряды для постоянной связи между воинскими частями, расположенными между Сант-Анджело и Казертой, а также на Вольтурно и в Сан-Леучо, чтобы помешать неприятелю вклиниться в наши фланги. Самой уязвимой была наша позиция у Санта-Мария, находящаяся на равнине, с немногими оборонными укреплениями, сооруженными нами в несколько дней. Они были легко доступны для многочисленной неприятельской кавалерии, а также артиллерии, более многочисленной и лучше оснащенной, чем наша.

Мы заняли Санта-Мария из уважения к ее славному населению, проявившему некоторые либеральные устремления при отступлении бурбонцев, а теперь трепетавшему при мысли увидеть вновь своих старых властелинов.

Наши силы у Санта-Мария, находящиеся в качестве резерва для высоты Сант-Анджело

и подножия Тифате, могли бы значительно укрепить всю нашу линию. Заняв Санта-Мария, надлежало занять и расположенный слева от этих позиций Сан-Таммаро[237] и держать отряд на дороге из Санта-Мария в Сант-Анджело, чтобы обеспечить связь между этими двумя пунктами. Всё это составляло слабую сторону нашего положения; я советую моим молодым соратникам на случай, если они попадут в такое же положение, не рисковать безопасностью армии, когда под угрозой находится территория, население которой может быть увезено в надежное место. Это сознание слабости наших позиций и приготовление к неминуемой битве с более многочисленной и во всех отношениях лучше оснащенной армии, чем наша, меня крайне беспокоило.

1 октября в 3 часа утра с частью моего штаба я выехал поездом из Казерты, где находилась моя главная ставка, и еще до рассвета прибыл в Санта-Мария. Не успел я сесть в коляску, чтобы отправиться в Сант-Анджело, как на нашем левом фланге раздалась стрельба. Генерал Мильбиц, командующий здешни-

ми силами, подошел ко мне и сказал: «Нас атакуют у Сан-Таммаро, пойду-ка разузнаю, что там происходит». Я приказал вовсю гнать лошадей. Грохот пальбы всё усиливался и постепенно распространился по всему фронту до Сант-Анджело. Когда забрезжил рассвет, я очутился на том месте дороги, где слева находились наши силы, у Сант-Анджело. Бой был в разгаре, и меня осыпал град неприятельских пуль. Мой кучер был убит, коляска изрешечена пулями, а я и мои адъютанты должны были, выйдя из коляски с саблями наголо, прокладывать себе дорогу. Вскоре я очутился среди генуэзцев [майора] Мосто и ломбардцев [капитана] Симонетта: теперь нам не нужно было больше самим защищаться. Увидев нас в опасности, эти доблестные бойцы с такой яростью напали на бурбонцев, что отбросили их на значительное расстояние и освободили нам дорогу к Сант-Анджело. Проникновение неприятеля в наши боевые линии и в наш тыл, да еще ночью, – операция, выполненная блестяще, – доказывало, как хорошо была ему знакома местность.

Среди путей, ведущих с вершин Тифате и

Сант-Анджело в Капую, имеются различные дороги, врезавшиеся на глубину многих метров в почву, образованную вулканической лавой. Вероятно, в древние времена эти дороги были проложены как стратегические коммуникации на поле сражения. Дождевые воды, стекавшие с окрестных гор, несомненно, способствовали еще большему углублению почвы. Дело в том, что в таких проходах могут совершенно незаметно передвигаться боевые силы всех трех видов оружия. В своем тщательно разработанном плане битвы бурбонские генералы очень умело воспользовались этими переходами и провели через них, в тылу наших позиций, несколько батальонов, заняв ночью грозные высоты Тифате.

Вырвавшись наконец из свалки, в которую попал, я отправился со своими адъютантами в Сант-Анджело, так как полагал, что враг находится только на нашем левом фланге. Но двигаясь к высотам, я вскоре убедился, что неприятель завладел ими и находится у нас в тылу. Это были, несомненно, те самые бурбонские батальоны, которые ночью прошли через упомянутые переходы, перерезав наши

боевые линии, и заняли позиции на высотах у нас в тылу.

Не теряя времени, я собрал всех, кто оказался у меня под рукой, и, двигаясь по дорогам, ведущим в горы, попытался обойти неприятеля. Одновременно я послал роту миланцев занять вершину Тифате или Сан-Никкола, господствующую над всей холмистой цепью Сант-Анджело.

Эта рота вместе с двумя другими ротами бригады Сакки, мною затребованными и вовремя прибывшими на поле боя, остановили врага, который рассеялся; мы захватили немало пленных. Теперь я мог взобраться на гору Сант-Анджело, откуда увидел, что битва разгоралась по всей линии с переменным успехом: она то складывалась благоприятно для нас, то наши отступали под натиском неприятельских войск.

Находясь на протяжении нескольких дней на горе Сант-Анджело, я мог наблюдать за всем неприятельским лагерем и заметил множество признаков предстоящей атаки. Поэтому различные демонстрации врага на нашем правом и левом флангах не ввели ме-

ня в заблуждение. Мне стало ясно, что это делается с целью оттянуть наши силы от центра, на который неприятель собирался бросить свои главные силы.

Я оказался прав, ибо 1 октября враг направил против нас все силы, которые у него оставались в лагере и в крепостях, и, к нашему счастью, одновременно атаковал наши позиции по всей линии. Повсюду, от Маддалони до Санта-Мария, сражение было очень упорным.

В Маддалони, после переменных успехов, генералу Биксио удалось победоносно отразить врага, В Санта-Мария, где был ранен генерал Мильбиц, неприятель был также отбит, и в обоих пунктах нам достались пушки и пленные.

В Сант-Анджело, после длившейся более шести часов битвы, произошло то же самое; но так как враг располагал здесь очень внушительным войском, то он, имея сильную колонну, удержал коммуникации между этим пунктом и Санта-Мария. Таким образом, чтобы пробраться к затребованным мною у генерала Сиртори резервам, которые должны бы-

ли по железной дороге прибыть из Казерты в Санта-Мария, мне пришлось обойти дорогу слева, и лишь в два часа пополудни я смог добраться до Санта-Мария. Как раз в этот момент подошли резервные части из Казерты. Я приказал им построиться в колонны и приготовиться к атаке на дороге, ведущей в Сант-Анджело, в авангарде была бригада миланцев, поддержанная бригадой Эберарда, а в резерве находилась бригада Ассанти. Я приказал также быть наготове к атаке храбрым калабрийцам Паче, которых я обнаружил справа от меня среди кустов. Они умели прекрасно сражаться.

Едва наш головной отряд около 3 часов пополудни показался из густой чащи, скрывающей дорогу по соседству с Санта-Мария, как неприятель заметил нас и стал осыпать гранатами. Это вызвало минутное замешательство в наших рядах, но едва прозвучал сигнал к наступлению, как молодые миланские берсальеры, шедшие впереди, бросились на врага. За цепью миланских берсальеров сразу же последовал другой батальон той же бригады, бесстрашно атаковавший врага без единого

выстрела, согласно моему приказу.

Дорога из Санта-Мария в Сант-Анджело и справа от нее дорога из Санта-Мария в Капую, пересекаясь, образуют угол в 40 градусов; таким образом, наша колонна, двигаясь по этой дороге, должна была повернуть влево, где за естественными укрытиями расположилось многочисленное войско противника. Так как миланцы и калабрийцы уже ввязались в бой, я бросил на неприятеля бригаду Эберарда, находившуюся с правой стороны наших сражавшихся частей.

Нужно было видеть это замечательное зрелище! Ветераны Венгрии[238] вместе со своими товарищами из «Тысячи» шли под огнем спокойные, хладнокровные, в образцовом порядке, словно на маневрах. Бригада Ассанти также ринулась вперед, и враг не замедлил начать отступление к Капую.

Почти одновременно с атакой этой колонны на вражеский центр справа атаковали дивизии Медичи и Авеццана, а слева – остатки дивизии Тюрра по дороге в Капую. После упорного сопротивления враг был разгромлен по всему фронту и около 5 часов дня под

прикрытием пушек, расположенных на городской площади, в беспорядке отступил к Капуе. Примерно в этот же час генерал Биксио известил меня о победе на правом фланге, и я мог телеграфировать в Неаполь: «Победа по всему фронту»[239].

Операция 1 октября у Вольтурно была настоящим генеральным сражением. Я уже упомянул, что наши позиции страдали большими недостатками из-за слишком большой растянутости и нерегулярности частей. Но на наше счастье, план сражения, составленный бурбонскими генералами, также не был без изъянов. Они атаковали нас в лоб, хотя могли прибегнуть к обходному движению и тем свели бы на нет все сделанные нами оборонительные работы и извлекли бы из этого огромную выгоду. Они атаковали нас значительными силами по всему фронту в шести разных пунктах: в Маддалони, Кастель Морроне, Сант-Анджело, Санта-Мария. Сан-Гампро и Сан-Леучио.

Итак, они ударили в лоб и натолкнулись на сильные позиции и воинские части, хорошо подготовившиеся к их встрече. Наоборот,

они вполне могли бы предпринять обходное движение, ибо в своих руках они держали инициативу, имея сильную позицию Капуи. Использование кавалерии и мостов через Вольтурно значительно облегчило бы им подобную операцию, которая с наступлением сумерек угрожала бы пяти из вышеперечисленных пунктов. Если бы они в ту ночь перебросили сорок тысяч человек на наш левый фланг у Сан-Таммаро, я вполне уверен, что им удалось бы добраться до Неаполя с малыми потерями. В этом случае, правда, мы не лишились бы нашей Южной армии, но это вызвало бы в наших рядах большое смятение, особенно среди восприимчивого населения Парте-нопеи.

Другой причиной слабости бурбонской армии была их излюбленная система «стрелять на ходу», что всегда приводило к роковым для них последствиям при схватках с нашими волонтерами, которые побеждали их штыковыми атаками без единого выстрела.

Мне могут возразить, что наша система, может быть, вредна, если противник имеет оружие нового типа, метко стреляющее. Но я

всё же с полным убеждением утверждаю, что именно при наличии такого оружия наша система еще более необходима.

Предположим, что перед нами открытое поле битвы, лишенное каких-либо преград. Две цепи берсальеров стоят друг против друга, причем одна, двигаясь, стреляет в другую, которая как вкопанная стоит на месте, отвечая на пальбу противника. По-моему, все преимущества на стороне цепи, стоящей на месте, ибо она может заряжать винтовки и стрелять спокойно, сохраняя хладнокровие и с меньшей затратой сил. Боец может наклонить корпус, чтобы уменьшить площадь для попадания вражеских пуль. Меж тем как двигаясь, боец более возбужден, значит его выстрелы не столь метки, а главное, шагая вперед, он обязательно невольюно выставит вперед свое туловище больше, чем это положено.

При современном оружии цепь берсальеров, которая хладнокровно выжидает приближения неприятеля, стреляющего на ходу, несомненно понесет большие потери людьми, но бесспорно, что ни один из вражеских солдат не останется невредимым. Впро-

чем, мало таких местностей и совсем редки случаи, когда цепь берсальеров, выжидающая приближения противника на заранее приготовленных позициях, не нашла бы возможности для частичного или даже полного укрытия своих бойцов.

В таком случае, при одинаковой численности бойцов с обеих сторон, ни один солдат из наступающей цепи не дойдет целым до цепи, залегшей на позиции. Также не следует атаковать врага на его позициях, или же надо атаковать его вплоть до рукопашного боя, без чего будут лишь большие потери, а цели достигнуто не будет.

Одним из наших огромных преимуществ в сражении у Вольтурно было также искусство наших офицеров. Когда имеешь такую плеяду военачальников, как Авеццана, Медичи, Биксио, Сиртори, Тюрр, Эберард, Сакки, Мильбиц, Симонетта, Миссори, Нулло и другие, то трудно допустить, чтобы победа не увенчала знамя борьбы во имя свободы и справедливости.

Не только гарибальдиец, не только русский

Послесловие редактора

Интереснейшие «Записки» Льва Ильича Мечникова (1838–1888) имеют и интересную судьбу.

22-летний юноша, участник легендарного похода Джузеппе Гарибальди и его «Тысячи» против неаполитанских Бурбонов в 1860 г., принялся писать их сразу же по окончании кампании. В тот момент общественность всего мира была взбудоражена падением королевства Обеих Сицилий в результате революционного натиска краснорубашечников и умелого пожинания плодов со стороны короля-объединителя Виктора-Эммануила II и его премьер-министра Камилло Кавура. Несмотря на определенное замешательство российского правительства перед фактом исчезновения многолетнего и верного неаполитанского партнера по европейской игре, объединение Италии под короной Савойской династии воспринялось тут в целом благосклонно – уже в

1862 г. Россия признала новое государство, Итальянское королевство.

Именно этим, а также огромным интересом русской публики и общей либерализацией начала царствования Александра II, можно объяснить возможность публикации повествования о бунтарском походе. Она состоялась в трех выпусках (сентябрь, октябрь, ноябрь 1861 г.) 35-го тома «Русского вестника», «Литературного и политического журнала, издаваемого М. Катковым», как гласил подзаголовок. Вероятно, для Каткова это было и продолжением уже заявленной итальянской темы – двумя годами ранее, в 1859 г., он отвел страницы своего журнала корреспонденциям Николая Берга о Ломбардской кампании Гарибальди.

И консервативный издатель, и революционный автор сознавали, что текст об «экспедиции Тысячи» – на грани дозволенного, ведь россиянам возбранялось идти в волонтеры к Гарибальди, да и сам он в Петербурге имел обоснованную репутацию опасного радикала. В такой обстановке появилась первая итальянская публикация Мечникова – без имени

автора (в этот раз появился инициал *М.*; позднее – разные псевдонимы, в т. ч. самый известный – Леон Бранди).

На родину Мечников после своего гарибальдийского опыта так и не вернулся, несмотря на несколько позднейших попыток: его увлечения разного рода «подрывными» идеологиями, в первую очередь, анархизмом, вне сомнения, были хорошо известны российскому правительству. Вероятно, именно поэтому его «Записки» никогда не переиздавались до революции. Однако и после оной они не увидели назревшей перепечатки. На них ссылались, их обильно цитировали, их изучали, но не переиздавали...

Теперь отечественный читатель впервые держит в руках научное издание «Записок». Но траектория книги не была прямолинейной. Первыми книгу Мечникова взяли в руки... итальянцы. Это произошло необыкновенно вовремя – в 2007 г., в юбилейный год 200-летия со дня рождения Гарибальди, когда вся нация вспоминала и чествовала героя (и его сподвижников). Так появился том «*Memorie di un garibaldino russo. Sulla*

спedizione dei Mille»[240].

Инициатором итальянской публикации и переводчиком Мечникова выступил Ренато Ризалити, историк из Пистойи, всегда внимательный к новым сюжетам из области русско-итальянских отношений[241]. Книга вышла в издательстве С.I.R.V.I., Межуниверситетского Центра исследований «Путешествия в Италию», что способствовало ее попаданию в нужное русло. Ее заметили и оценили. Спустя всего лишь четыре года, в 2011 г., в том же Центре вышло новое издание, где к тексту «Записок» прибавились материалы о поддержке «экспедиции Тысячи» со стороны жителей Пистойи. И эта книга появилась в издательстве С.I.R.V.I., также при юбилейных обстоятельствах, в год 150-летия объединения Италии: именно в 1861 г. было провозглашено новое европейское государство, Итальянское королевство.

Итальянскому изданию «Записок» Ренато Ризалити предпослал предисловие, переведенное нами для русского издания, которое появилось также в результате инициативы тосканского историка.

Мечников не был единственным *русским* гарибальдийцем. Императорский посланник при королевстве Обеих Сицилий А. Н. Волконский, который последовал вслед за Бурбонами в осажденную пьемонтскими войсками Гаэту, сообщал в Петербург, министру А. М. Горчакову, что среди гарибальдийцев – около полусотни русских, выделив при этом именно Мечникова, который «будучи исключенным из лица, некоторое время путешествовал по Востоку с Мансуровым»[242]. Среди гарибальдийцев были даже двое русских *детей* – сыновья «разжалованного» предводителя дворянства Саратовской губернии И. И. Бернова.

Возможно, что одним из самых первых русских гарибальдийцев стал Федор Петрович Комиссаржевский (1838–1905), в будущем – оперный певец и профессор консерватории, а также отец знаменитой актрисы Веры Комиссаржевской. В 1859 г. молодой русский студент примкнул к «делу Гарибальди, которое выходило далеко за пределы только увлечения, хотя бы пылкого и искреннего»

[243].

Уход к Гарибальди становился литературным топосом: Короленко в «Слепое музыканте» повествует о «забияке из Волыни» – «Дяде Максима», который в молодости «рассердился на австрийцев», уехал в Италию и там «прикнул к такому же забияке и еретику – Гарибальди»[244].

Наряду с Мечниковым ценнейшие заметки о Гарибальди оставил вышеупомянутый путешественник и литератор Н. В. Берг, освещавший Ломбардскую кампанию Гарибальди для русской печати. В частности, он сообщал о русской гарибальдийке, «чистой москвитянке», фамилию которой он из осторожности не сообщил[245]. Берг рассказывал и о своих беседах с Гарибальди, в т. ч. и о России. «“Герой двух миров” вспомнил свое посещение Одессы и Таганрога, назвал Россию, согласно Бергу, “лучшим кусочком вселенной”, “дивной страной”, а русский народ – “одной из лучших наций в мире”»[246].

Следует также назвать имя известной писательницы, редактора детских журналов А. Н. Толиверовой-Якоби. Будучи в Риме во

время последнего похода Гарибальди в Италии в 1867 г., она приняла активное участие в движении гарибальдийцев. В июле 1872 г. Топливерова лично познакомилась с Гарибальди и прогостила у него неделю на сардинском острове Капрера. Она привезла Гарибальди в подарок из России две красные рубашки...

* * *

Современный читатель обладает могучим арсеналом по добыче информации, и для него не составит труда узнать биографические сведения о Льве Ильиче Мечникове.

Сообщим их поэтому кратко.

Лев родился 18 (30) мая 1838 г. в Петербурге, в семье гвардейского офицера и харьковского помещика – затем, в 1845 г., в семье появился Илья, будущий Нобелевский лауреат. По отцовской линии предками Мечниковых были молдавские бояре, принявшие российское подданство при Петре I. Мать же была крещеной еврейкой, из даровитой семьи Неваховичей. С детства Лев проявил бунтарский и авантюрный характер: среди прочего, он пытался драться на дуэли и бежать из родительского дома. Он обучался между Харько-

вом и Петербургом, меняя хирургию на физику, а ее – на изящные искусства, одновременно занимаясь восточными языками. Именно его лингвистические дарования привлекли внимание деятельного участника «Русской Палестины» Б. П. Мансурова, взявшего юного Льва в 1859 г. в поездку в Константинополь, затем на Афон и в Иерусалим[247].

Независимый характер юноши дал себя знать и на службе у Мансурова: уволившись, Мечников ненадолго возвращается в Петербург, но его опять манит Восток – устроившись в Русское Общество Пароходства и Торговли, он совершает несколько плаваний по Дунаю, по Черному и Эгейскому морям и в итоге отправляется в Венецию, движимый желанием стать профессиональным художником. Однако в гостях у потускневшей тогда, под игом Австрии, «жемчужины Адриатики», Лев увлекся итальянским патриотическим движением и стал собирать «славянский» легион для Гарибальди. Под угрозой ареста он бежал во Флоренцию, где вступил в гарибальдийское ополчение[248].

Именно с того момента начинаются его

«Записки» и его бурная итальянская жизнь – бурная во всех смыслах: общественном, политическом, литературном и – личном. После окончания экспедиции «Тысячи» и участия в важной битве против бурбонцев на Вольтурно он снова – в Тоскане, где сближается с анархистами бакунинского кружка, пишет сотни корреспонденций (под псевдонимами) и свой первый роман – «Смелый шаг» (1863) [249]. Имя Мечникова обрело скандальную известность после того, как он завязал роман с семейной дамой Ольгой Ростиславовной Скарятиной (урожд. Столбовской) и увез ее, в 1864 г., в Швейцарию [250].

Его исследовательские и общественные интересы укрупняются – его увлекает история народов, мировая география и, конечно, европейская политика. Он бывает во Франции, Испании, Австрии, Германии. В какой-то момент, по неизвестным причинам, Мечников принимает американское гражданство, а литературную и научную продукцию производит уже на французском, для всемирного читателя. Теперь он – Леон Мечникофф.

Как пишет современный биограф Мечни-

кова, Маргарита Сосницкая, «...Практически вся оставшаяся жизнь Л. Мечникова проходит в этой маленькой стране [Швейцарии], тихой гавани, всегда охотно дававшей пристанище российским революционерам. Покидает он ее всего на несколько лет ради Страны восходящего солнца, где преподает в Токио русский язык, осваивает японский и пишет книгу по истории Японии. По возвращении оттуда Льва Мечникова приветит ученый-географ Элизе Реклю, как и тот, неутомимый революционер, исследователь, искатель социальной справедливости, побывавший если не в гарибальдийских рядах, то на баррикадах Парижской коммуны. Начинается самый плодотворный период в пассионарной научной деятельности Льва Мечникова. Он заведует кафедрой сравнительной географии и статистики Невшательской академии, где преподает, и создает свой главный нерукотворный памятник – труд “Цивилизация и великие исторические реки”, который завоевал ему вечное место под солнцем науки по имени геополитика и не утратил своего значения по сегодняшний день»[251].

Трактат «Цивилизация и великие исторические реки» вышел на французском языке, уже после смерти автора, которая наступила 30 июля 1888 г. в швейцарском городе Кларансе.

Его русскому переводу М. Д. Гродецкий, один из первых биографов Мечникова, предпослал следующие слова:

«Громадные умственные данные, блестящая феноменальная память, необыкновенное трудолюбие и замечательная способность усвоения фактического материала давали ему возможность исполнять единолично такую гигантскую работу, какой хватило бы на несколько обыкновенных работников, трудящихся исподволь и помаленьку»[252].

* * *

Нельзя сказать, что Лев Ильич Мечников после преждевременной кончины в Кларансе был забыт. Спустя десять лет, в 1897 г. профессор Брюссельского университета М. Д. Гродецкий перевел книгу «Цивилизация» на русский и напечатал в журнале «Жизнь». На эту публикацию откликнулся его гимназический друг Н. Маслович, опубликовавший заметку

«К биографии Льва Ильича Мечникова»[253], где рассказал о юности Льва. Первый серьезный очерк жизни и деятельности дал Гродецкий, для 2-го издания «Цивилизации...». К биографии Мечникова вновь обратились и в первые послереволюционные годы, когда Н. А. Критская подготовила и издала новый перевод «Цивилизации...» (1924 г.). Позднее на этот труд упала некая вуаль забвения – из-за его явного несоответствия марксистскому подходу к истории.

И все-таки революционная и публицистическая деятельность Мечникова не замалчивалась: о его участии в гарибальдийской «Тысяче» упоминалось в советских школьных учебниках. Более того, совершались оригинальные попытки привлечь его в стан союзников, о чем свидетельствует статья В. М. Романенко «Борьба Л. И. Мечникова против мальтузианства, социал-дарвинизма и расизма»[254]. К числу первых попыток научной биографии следует отнести публикацию И. Е. Семенова «Русский гарибальдиец Л. И. Мечников»[255].

В 1960 г. большие фрагменты из воспоминаний

наний Мечникова дала детская писательница А. И. Кальма в своей исторической повести «Заколдованная рубашка». Текст не претендовал на документальную точность: по воле автора Лев, отплыв из Генуи на корабле Гарибальди, вместе со своим университетским другом, Александром Есиповым (вымышленное лицо), участвовал в боях на Сицилии (в «Записках» же он сообщает, что выплыл из Ливорно и прибыл на остров, уже занятый «Тысячей» краснорубашечников). В согласии с этой вымышленной канвой писательница внедрила в живописный сицилийский контекст главу «Записок» Мечникова о сражении на Вольтурно, под Неаполем; Александр Есипов гибнет при этом сражении.

Наиболее крупным биографическим вкладом, не утратившим своей ценности и по сию пору, стала скрупулезная статья А. К. Лишиной «Русский гарибальдиец Лев Ильич Мечников»[256]. Лишина первой серьезно изучила большой фонд Мечникова, включая его рисунки, собранный в Центральном государственном архиве Октябрьской революции (в настоящее время – в Государственном архиве

Российской Федерации, в то время как переписка Мечникова с Герценом, Огаревым и др., большей частью опубликованная, хранится в Российском Государственном архиве литературы и искусства). Результатом этих исследований стала другая важная публикация, сделанная ею совместно с мужем О. В. Лишиным «Лев Мечников – революционный публицист и ученый»[257]. Интерес к Мечникову проявляли не только историки, но и философы, такие как М. А. Сиваков («Философия и социология Л. И. Мечникова»)[258]. В 1981 г. Лев Ильич дождался своей первой книжной биографии, написанной К. С. Карташёвой – «Дороги Льва Мечникова». Абсолютно новый, качественный этап наступил в 1990-е гг., когда был переиздан трактат «Цивилизация...», что обратило многих отечественных исследователей к уникальной фигуре его автора.

Издание «Записок гарибальдийца», предпринятое итальянским историком Ренато Ризалити, должно поспособствовать полноценному «возвращению» Льва Ильича Мечникова в отечественную литературу, публицистику, историю.

Для современной публикации «Записок» журнальный их текст 1861 г. был оформлен в современной орфографии, прокомментирован и снабжен указателями и редкими иллюстрациями. Уточнена и приведена к современной и транслитерация итальянских слов, имен и названий (к примеру, вместо Джованни – Джованни). Исправлены явные описки, которые могли принадлежать не автору, не имевшему возможности просмотреть гранки, а московской редакции журнала. В ряде случаев указано авторское написание того или иного слова. В целом же мы стремились сохранить стиль Мечникова, который современному читателю может иногда показаться архаичным.

В качестве Приложения дан фрагмент воспоминаний самого Гарибальди, где тот дает свое видение тех же самых событий кампании 1860 г.: перевод на русский язык, опубликованный в 1966 г., был нами сверен с оригиналом и исправлен, а также заново прокомментирован.

В работе над изданием «Записок» Льва

Мечникова помощь оказали: Илья Андронов (Москва), Артем Ключев (Омск), Светлана Сомова (С.-Петербург), Стефания Сини (Милан), Маргарита Сосницкая (Лаго-Маджоре).

Михаил Талалай,
апрель 2016 г., Милан

Примечания

Mečnikov L. Memorie di un garibaldino russo / Traduzione dal russo di R. Risaliti. Prefazioni di M. Varvarcev e R. Risaliti. Moncalieri: Centro Interuniversitario di Ricerche sul “Viaggio in Italia”, 2007. Второе дополненное издание (к 150-летию объединения Италии): 2011.

[^^^]

См.: Невлер В. Е. Джузеппе Гарибальди и русское общество в годы революционной ситуации (1859–1861 гг.) // Объединение Италии. 100 лет борьбы за независимость и демократию. М.: Изд. АН СССР, 1963. С. 69–101; Шелгунов Н. В. Воспоминания. М.-Пг., 1923. С. 25. Здесь и далее – примеч. переводчика.

[^^^]

Цит. по: Гарибальди Дж. Мемуары / пер. В. С. Бондарчука и Ю. А. Фридмана. М.: Наука, 1966. С. 352.

[^^^]

4

Чезаре Де Микелис собрал и перевел статьи Н. А. Добролюбова на итальянские темы: Dobroljubov N. Conti, preti, briganti, cronache italiane [Графы, священники, разбойники, итальянские хроники]. Milano: Giordano, 1966.

[^^^]

Берти Дж. Россия и итальянские государства в период Рисорджименто. М., 1959. См. также: Risaliti R. Storia della Russia. Dalle origini all'Ottocento [История России. От истоков до XIX столетия]. Milano: Mondadori, 2005. P. 203 и далее.

[^^^]

6

Гарibaldi Дж. Указ. соч. (гл. 15).

[^^^]

Del Boca A. Italiani brava gente? Vicenza: Neri Pozza, 2005. P. 57–72.

[^^^]

Варварцев М. М. Левко Мечников – відомий і невідомий // Вісник Академії наук України. 1992, № 4. С. 68–91.

[^^^]

Письмо было опубликовано в: Процесс
Н. Г. Чернышевского. Архивные материалы.
Саратов, 1939. С. 72 и далее.

[^^^]

Venturi F. Il populismo russo. Vol. I. Torino: Einaudi, 1972. P. 334.

[^^^]

Бранди Л. Капрера // Современник, март 1860.

[^^^]

Цит. по: Невлер. Указ. соч. С. 90.

[^^^]

«Болезнь». Неизданная поэма С. П. Шевырева /
Подг. текста, вступ. ст. и примеч. Л. И. Соболе-
ва // Новое литературное обозрение. 2004.
№ 69.

[^^^]

Nevler V. E. Atti del II Convegno degli storici italiani e sovietici // I quaderni di Rassegna Sovietica. Quaderno secondo. Roma, 1968. P. 309.

[^^^]

Из переписки Герцена с О. Р. Скарятиной / публ. Н. П. Анциферова // Литературное наследство. Т. 63, № 3. М.: Изд. АН СССР, 1956. С. 93–103. О Н. П. Анциферове, ученике медиевиста И. М. Гревса, историке и литературоведе, см. подробную статью Д. С. Московской в: Анциферов Н. П. Отчизна моей души. М.: Старая Басманная, 2016. С. 13–36.

[^^^]

Сосницкая М. Блеск и нищета российского гарибальдийца: к 170-летию рождения и 120-летию смерти // Интернет-издание «Русский журнал»; <http://www.russ.ru/pole/Blesk-i-nischeta-rossijskogo-garibal-dijca>.

[^^^]

Там же.

[^^^]

Varvarcev M. Lev Mečnikov e l'Italia // Mečnikov L. I. Memorie di un garibaldino russo / a cura di R. Risaliti. Moncalieri: CIRVI, 2011. P. 55–56.

[^^^]

Из переписки деятелей освободительного движения. Материалы из архива Л. И. Мечникова / Публ. А. К. и О. В. Лишиных // Литературное наследство. Т. 87. М.: Наука, 1977. С. 471.

[^^^]

По правилам надо: Витторио; остается гадать, сознательно ли Мечников допустил эту неточность.

[^^^]

В последнем переиздании, 2013 г., изд-во «АЙ-РИС-пресс», помещен обстоятельный биографический очерк В. И. Евдокимова – «Феномен Льва Мечникова».

[^^^]

См. посвященную Л. Мечникову статью в русской Википедии.

[^^^]

Из переписки деятелей освободительного движения. Указ. соч. С. 460.

[^^^]

В ходе военной кампании Гарибальди против бурбонского правления на Юге Италии, названной «экспедицией Тысячи», в мае 1860 г. были одержаны важные победы и взята столица Сицилии, Палермо. – Здесь и далее прим. М. Талалая.

[^^^]

Кастель-Пульчи – замок, иначе вилла, близ Флоренции, на совр. территории коммуны Скандиччи; в казенном ведении – с 1854 г., после описываемых событий использовалась, до 1973 г., как психиатрическая лечебница; в ее стенах, в 1932 г. скончался поэт Дино Кампана. См.: Ризалити Р. Русская Тоскана. СПб.: Алетейя, 2012. С. 90–93.

[^^^]

Джованни Никóтера (1828–1894) – политический деятель, с 15-летнего возраста член «Молодой Италии», основанной Джузеппе Мадзини; в объединенной Италии – министр внутренних дел; автор далее рассказывает о неудачной экспедиции революционера-республиканца Карло Пизакане в 1857 г. с целью освобождения политзаключенных в королевстве Обеих Сицилий.

[^^^]

Беттино Рика́золи (в соответствии с тосканским произношением – Рикасоли, как теперь и принято транслитерировать) (1809–1880) – политический деятель (дважды премьер-министр объединенной Италии), после упразднения Великого герцогства Тосканского в 1859 г. – генерал-губернатор Тосканы, назначенный королем Виктором-Эммануилом II.

[^^^]

Так автор называет Папское государство (иначе Папская область), просуществовавшее до 1870 г.

[^^^]

Итальянизм: уроженец Пармы, parmegiano (пармеджано), слово, которым чаще называют прославленный сыр (в русской традиции употребима французская форма, пармезан).

[^^^]

Итальянизъм: крестъяне, от contadino.

[^^^]

Солдат при фурах, возница.

[^^^]

Прощай, Кастель-Пульчи! (здесь и далее, кроме особо указанных, – итал.).

[^^^]

Да здравствует Италия! – главный лозунг Рикорджименто; так, к примеру, назван фильм Роберто Росселини (1961 г.) об «экспедиции Тысячи» Гарибальди.

[^^^]

Сассаране (иначе тассаране) – солдатский ренец в обиходном языке.

[^^^]

Книги: Жан-Жака Руссо, «Исповедь» (Les Confessions), и Доменико Гверрацци (правильнее Гуэррацци), «Осада Флоренции», роман, опубликованный в 1836 г. и ставший настольной книгой итальянских патриотов республиканского направления.

[^^^]

На войне как на войне (фр.).

[^^^]

Вероятно, право на каботаж, плавание вдоль берега, без выхода в открытое море и пересечения национальных границ.

[^^^]

Агостино Бертани (1812–1886) – врач и революционер-гарibaldiец.

[^^^]

То есть Гарибальди, провозгласивший себя от имени короля Виктора-Эммануила II «диктатором Сицилии».

[^^^]

Первая война за независимость Италии в
1848–1849 гг.

[^^^]

Агостино Депретис, устар. де Претис (1813–1887), деятель Рисорджименто, позднее премьер объединенного Итальянского королевства.

[^^^]

Кавалеристы полка «Guide» («Вожатые»), основанного Гарибальди в 1859 г. и инкорпорированного в Королевскую армию в 1866 г.

[^^^]

«Быстрый».

[^^^]

«Четыре ветра», однако, возможно, автор имел в виду Quattro Santi, «Четыре угла», популярный перекресток в центральной части Палермо.

[^^^]

Проклятие! (буквально: святой чёртище).

[^^^]

17–20 июля 1860 г. под Милаццо бурбонские войска были разбиты гарибальдийцами.

[^^^]

Святой чёртище! Да как так можно кощунствовать!

[^^^]

Приход церкви св. Иоанна Крестителя.

[^^^]

Итальянизм: lucerna – светильник, масляная лампа.

[^^^]

Мэрия.

[^^^]

Каноник, в Католической Церкви, – член капитула кафедрального собора.

[^^^]

Итальянизмы: sbirri – уничижительное для poliziotti, полицейские.

[^^^]

Тринакрия – древнегреческое название Сицилии («с тремя мысами»).

[^^^]

Нем.: приказ, отменяющий предшествующий.

[^^^]

Нино Биксио (1821–1873) – генерал, один из сподвижников Гарибальди.

[^^^]

В Реджо-Калабрии 21 августа 1860 г. гарибальдийцы одержали победу над бурбонцами.

[^^^]

Две главные крепости Неаполя, морской «Замок яйца» и стоящий на холме «Замок св. Эльма».

[^^^]

Искаженное согласно неаполитанскому выговору: «Да здравствует Гарибальди!», «Да здравствует единая Италия!».

[^^^]

См. ниже описание въезда Гарибальди в Неаполь, оставленное самим Гарибальди: с. 146–150.

[^^^]

Лат.: «Великая Греция» – древнее название эллинизированной части Итальянского Юга.

[^^^]

Винченцо Маленкини (1813–1881) – патриот, участник «экспедиции Тысячи», позднее парламентарий и сенатор.

[^^^]

Джузеппе Миссори (1829–1911) – генерал-гарибальдиец (родился в Москве в семье итальянских коммерсантов).

[^^^]

Джузеппе Сиртори (1813–1874) – генерал-гарибальдиец, прославился стойкой защитой Венеции от австрийцев в 1849 г.

[^^^]

Энрико Козенц (1820–1898) – генерал-гарибальдиец, позднее видный государственный деятель объединенной Италии.

[^^^]

Александр Исеншмид граф де Мильбиц, иначе Мильбитц (1800–1883) – генерал-гарибальдиец, поляк по происхождению; первоначально на российской военной службе, эмигрировал после подавления восстания в Польше 1830–1831 гг.

[^^^]

Иштван Тюрр (1825–1908) – генерал-гарибальдиец, венгр по происхождению, участник Крымской войны против России.

[^^^]

Название корпуса волонтеров – Montanari del Vesuvio.

[^^^]

Lazzarone – нищий; в Неаполе – довольно многочисленное сословие, сыгравшее в некоторые моменты местной истории (например, во время республиканской революции 1799 г.) важную роль.

[^^^]

Калабрии, во мн. ч., – устаревшее название региона Калабрия, имевшего в прошлом административное деление на три части.

[^^^]

Сесиль-Жюль-Базиль Жерар (1817–1864), французский офицер, служивший в Алжире и приобретший европейскую известность своей охотой на львов.

[^^^]

Луи-Франсуа-Рене-Поль де Флотт, иначе Дефлотт (1817–1860) – французский моряк и литератор, убит при десанте гарибальдийцев в Калабрии.

[^^^]

Король Франческо II (правильнее Франциск) (1836–1894) – последний король Обеих Сицилий, член Дома Бурбонов.

[^^^]

Джузеппе Авеццана (1797–1879) – генерал-гарибальдиец.

[^^^]

Менотти Гарибальди (1840–1903) – военный и политический деятель, отличился во время «экспедиции Тысячи», когда ему было 20 лет.

[^^^]

Чекмени – верхняя одежда, поверх мундира;
брандебурсы – галуны, которыми украшаются
петли и места около пуговиц.

[^^^]

«Стотравник», калабрийский спиртовой бальзам.

[^^^]

Это мой малыш (фр.).

[^^^]

Воспитать (фр.).

[^^^]

Национальный союз (нем.). В те годы особенно был известен Nationalverein, созданный в Германии как результат либерального оппозиционного движения.

[^^^]

Арки-ди-Капуа (Капуанские арки), иначе Арко-Феличе, правильнее Арка Адриана – древнеримская арка, сооруженная при императоре Адриане, вероятно, в честь получения селением статуса колонии. Описываемая ниже битва отмечена мемориальной доской, водруженной на фасаде арки.

[^^^]

Итальянизм: Ганнибал, карфагенский полководец.

[^^^]

Грано – монета Неаполитанского королевства, затем королевства Обеих Сицилий.

[^^^]

Рыночная площадь.

[^^^]

Перевязанные связки прутьев.

[^^^]

Сиятельный господин офицер.

[^^^]

Из горного региона Абруццы (совр. Абруццо).

[^^^]

Обносить окопами для укрепления.

[^^^]

«Соломенная ферма».

[^^^]

Джованни Коррао (1822–1863) – сподвижник
Гарибальди; убит неизвестными лицами в
родном Палермо.

[^^^]

Эпизод революции 1848 г. в Италии: в июне 1848 г. ополченцы-патриоты героически пытались защитить Виченцу от австрийских войск маршала Йозефа Радецкого.

[^^^]

Стой! Кто идет?

[^^^]

Сицилийское: юноша. Во время «экспедиции Тысячи» так называли юных сицилийцев, примкнувших к Гарибальди.

[^^^]

Неаполитанский народный театральный персонаж, схожий с русским Петрушкой.

[^^^]

Малый, на сицилианском диалекте. – Прим.
авт.

[^^^]

Гвардия общественного порядка (дословно: гвардия безопасности).

[^^^]

Замковая площадь (в настоящее время Муниципальная площадь, piazza del Municipio).

[^^^]

Господин майор!

[^^^]

Тито-Ливио Дзамбеккари (1802–1862) – сподвижник Гарибальди.

[^^^]

Грубость (фр.).

[^^^]

Меблированные комнаты (фр.).

[^^^]

Праздник св. Франциска Ассизского приходится на 4 октября.

[^^^]

В оригинале ошибочно: Клеза.

[^^^]

Brevetto – патент.

[^^^]

Граф Алессандро Малакари-Мистури – гарибальдиец, позднее офицер корпуса берсальеров и депутат парламента объединенной Италии.

[^^^]

Джузеппе Ла Маза (у автора неточно Ла Мацца) (1819–1881) – гарибальдиец, позднее государственный деятель.

[^^^]

Королевские... бурбонцы.

[^^^]

Один из девизов Рисорджименто – «Савойя!», то есть Савойская династия, к которой принадлежал король-объединитель Виктор-Эммануил II.

[^^^]

108

Carlino – неаполитанская монета, равная 10 грано.

[^^^]

Сколько угодно.

[^^^]

Библейское: иудейские женщины; однако остается неясным, какой ветхозаветный эпизод имеется в виду.

[^^^]

Жан-Поль Рихтер (1763–1825) – немецкий романист и сатирик. Среди его популярных фраз – «Боязливый дрожит в ожидании опасности, трусливый – когда она настала, а храбрый – когда миновала».

[^^^]

Калатафими – селение, близ которого произошла первая победоносная битва Гарибальди (15 мая 1860 г.) после высадки на Сицилии.

[^^^]

В штыки!

[^^^]

Проклятье!.. дорогой мой.

[^^^]

Пресвятая Дева!

[^^^]

Клубок, рой (фр.).

[^^^]

Популярная парижская газета, выходившая с 1789 по 1944 г.

[^^^]

Геррит ван Хонтхорст (1590–1656) – голландский художник-караваджист, известный своими ночными сценами, за которые и получил в Италии прозвание «Герардо ночной», т. е. Герардо делле Нотте.

[^^^]

Графиня Марія Мартини делла Торре Саласко
(1830–1913) – сподвижница (и любовниця)
Джузеппе Гарибальди.

[^^^]

Джесси-Джейн Меритон-Уайт (1832–1906), она же маркиза Марио, по мужу, – пассионарная гарибальдийка, заслужившая прозвание «итальянской Жанны д’Арк».

[^^^]

Вот и маркиза.

[^^^]

Уйдите!

[^^^]

Речь идет о стихотворении Ф. Шиллера «Отречение».

[^^^]

Профессиональная ревность (фр.).

[^^^]

Сам Гарибальди сообщает слегка иную версию своего послания по телеграфу: «Vittoria su tutta la linea» [Победа по всей линии (т. е. по всему фронту)] – см. ниже Воспоминания Гарибальди, с. 156.

[^^^]

Наплечный ремень для ношения оружия.

[^^^]

Уменьшительное от Франческо. – Примеч. автора.

[^^^]

Имеется ввиду бурбонское государственное знамя с центральным круглым гербом, желтого цвета.

[^^^]

Энрико Чальдини (1811–1892) – военный и политический деятель Рисорджименто; именно он командовал пьемонтскими войсками, остановившими Гарибальди у Аспромонте в 1862 г., пленив самого Гарибальди.

[^^^]

Проклятие (фр).

[^^^]

Мой малыш (фр.).

[^^^]

Я помню о моей юности (фр.).

[^^^]

Возможно, Джузеппе (фр. Жозеф) Гарибальди.

[^^^]

Слезай! (фр.)

[^^^]

Вперед! Негодяи!

[^^^]

Легкое вино, которым славится Аверса. –
Прим. авт.

[^^^]

Ваше превосходительство (правильно: Eccellenza – автор, вероятно, сохраняет местное произношение).

[^^^]

Да здравствует Венгрия!

[^^^]

«Независимый».

[^^^]

Передовицы.

[^^^]

В классической литературе консул Марк Атилий Регул (III в. до н. э.) – символ самоотвержения во имя своего народа: будучи плененным карфагенянами и отпущенный ими под честное слово, он отправился обратно в Карфаген на верную смерть.

[^^^]

Речь идет о басне французского баснописца Флориана «Воспитание льва», где в качестве воспитателя фигурирует собака.

[^^^]

Карло Бонуччи (1799–1870) – неаполитанский историк античного искусства и археолог.

[^^^]

Генерал Кариссими командовал гарибальдийским корпусом «Cacciatori delle Alpi» (Альпийские охотники).

[^^^]

Граф Джованни Арривабене (1787–1881) – экономист, деятель Рисорджименто, с 1860 г. сенатор.

[^^^]

Джон Уильям Данн (Dunn) командовал батальоном из волонтеров, преимущественно сицилийцев, и около 40 англичан.

[^^^]

Итальянизм: принципі – князья.

[^^^]

Название итальянского региона Марке имеет множественное число: Le Marche.

[^^^]

Кристоф-Луи-Леон-Жюшо де Ламорисьер (1806–1865) – французский генерал и политический деятель.

[^^^]

Встреча Гарибальди с королем Виктором-Эммануилом 26 октября 1860 г. произошла близ Казерты; традиционно называют ее как «встреча в Теано», хотя указывают и на возможные другие места; Л. Мечников к этой дискуссии прибавляет еще одно название казертанского селения – Сан-Таммаро (у него ошибочно: Санто-Тамаро).

[^^^]

Бурбонцам, осажденным в крепости Гаэта, оказывала помощь Франция и ее флот под командованием адмирала Барбьера де Тинана.

[^^^]

Местность Моло-ди-Гаэта («Мол Гаэты»), в настоящее время – курортный городок Формия.

[^^^]

Королевская гвардия.

[^^^]

Графы Трапани (у автора неточно: Траппани), conte di Trapani – один из титулов последнего неаполитанского короля Франциска II; герцоги Кутрофьяно, duchi di Cutrofano (у автора неточно: Котруфьяно) – аристократический род (duca – герцог).

[^^^]

О Санджованнаре и вообще о гаморристах, или каморристах см. статью «Неаполь и Тоскана» в «Современной летописи», № 34 [1861]. – Прим. ред. журнала «Русский вестник».

Еженедельник «Современная летопись» издавался с 1861 г. тем же М. Н. Катковым как приложение к его журналу.

[^^^]

Итальянизм: cantina – погребок.

[^^^]

От «каморра» – неаполитанская мафия.

[^^^]

Правильное написание: iettator, iettatura; соответственно и произношение – йеттатор и йеттатура.

[^^^]

Как прекрасно знамя / Белое, красное, а тут зеленое. / С зари до вечера, / Посмотрел бы ты, как оно развевается, / А если ты мне не веришь, / То пойдя на Толедо и посмотри сам, / А если ты мне не веришь, / Гарибальди наш король (пер. автора).

[^^^]

Не угодно ли?

[^^^]

О Франческо! маленький Франческо! / Итак,
ты должен был убежать; / Ты еще слишком
маленький, / Ты не умеешь управлять (пер.
автора).

[^^^]

В оригинале ошибочно: Кавацци.

[^^^]

В действительности: Алессандро Гавацци (1809–1889) – первоначально католический священник, затем приверженец протестантизма; примкнул к «экспедиции Тысячи» как капеллан. О нем писал также Н. А. Добролюбов – см. «Отец Александр Гавацци и его проповеди», впервые в Собрании сочинений Н. А. Добролюбова. Т. IV. 1862. С. 232–265.

[^^^]

Помидорный соус.

[^^^]

Итальянизм: *rasquinata* – пасквиль.

[^^^]

«Санктус [Святой]», католическая литургическая молитва, начинающаяся со слов «Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф...».

[^^^]

Джованни Панталео (1831–1879) – франциска-
нец-минорит, участник экспедиции Тысячи;
в 1864 г. оставил монашеский сан.

[^^^]

Уго Басси (в оригинале неточно: Бани) (1801–1849) – священник, патриот, участник выступлений против австрийцев, родственником падре Панталео не приходился.

[^^^]

«Pungolo» – палка, стрекало (для волов), в переносном смысле – стимул, побуждение, в данном случае – название газеты, выходившей одновременно в Неаполе и Милане в 1860–1875 гг.; под «Официальной газетой» автор имеет в виду популярную проправительственную газету «Gazzetta di Napoli», выходившую с XVII в., а с 1816 г. называвшуюся «Gazzetta delle Due Sicilie».

[^^^]

Мемблированные комнаты (фр.).

[^^^]

Итальянизм: tata – няня, тётя.

[^^^]

Ухажер, верный рыцарь.

[^^^]

Хахаль.

[^^^]

Ривьера-ди-Кьяйя – морская набережная Неаполя, заканчивающаяся у холма Позилиппо.

[^^^]

Итальянизм: vetturino – извозчик.

[^^^]

Итальянизм: carrozza – карета.

[^^^]

Каподикино – холм в окрестностях Неаполя
(также и название современного аэропорта).

[^^^]

Проклятие!

[^^^]

То есть Биксио, как вообще произносят это имя, но многие, следуя гонуэзскому произношению, говорят: Бизио. – Прим. авт.

[^^^]

Ты царство гармонии, / Санта-Лючия, Санта-Лючия.

[^^^]

Бурбонский музей, в настоящее время Археологический музей, где собраны античные предметы из раскопок Геркуланума и Помпей.

[^^^]

Внутреннее ведомство.

[^^^]

Харчевня.

[^^^]

Цитата из патриотической песни, т. н. гимна Гарибальди: «Разверзлись могилы, и мертвые встали... [И наши страдальцы пред нами предстали]» – вольный перевод А. И. Кальма в ее повести про Л. И. Мечникова «Заколдованная рубашка» (1985).

[^^^]

Автор музики – Алессіо Алівьєри, текста – Луїджі Меркантині, сподвижник Гарибальди.

[^^^]

Саверио Меркаданте (1795–1870) – итальянский композитор, автор многих популярных опер. Вероятно, Мечников путает его с Меркантини, автором текста гимна, которого считали и в целом автором гимна, полагая его музыку народной.

[^^^]

Неологизм автора – так Мечников называет представителей новой администрации в Неаполе, после вхождения павшего королевства Обеих Сицилий под корону Виктора-Эммануила II, короля-пьемонтца.

[^^^]

Либорио Романо (1793–1867) – государственный деятель, при Бурбонах – префект полиции; затем перешел на сторону Гарибальди.

[^^^]

Правильно: «La Bella Gigogin», «Красавица Джигоджина», патриотическая песня, сочиненная миланским композитором Паоло Джорца в 1858 г. У Мечникова – Gigogna, Джигонья, на неаполитанский лад.

[^^^]

Гарибальди подобает почестъ / Всегда был победитель.

[^^^]

Врач Антонио Морози, участник битвы при Вольтурно, был командирован в «экспедицию Тысячи» тосканским губернатором Б. Риказоли.

[^^^]

Партизан, в испаноязычной традиции.

[^^^]

«Человек из народа» – один из риторических эпитетов Гарибальди, наряду с «сыном народа»; см. ниже воспоминания Гарибальди, с. 146.

[^^^]

Ошибка: Гарибальди в то время было 27 лет.

[^^^]

Девиз короля Карла-Альберта Савойского:
«Италия сделается сама по себе».

[^^^]

Луи-Эжен Кавеньяк (1802–1857) – французский генерал и государственный деятель, организатор расправы над восставшими парижанами в 1848 г.

[^^^]

Николя-Шарль-Виктор Удино (1791–1863) – французский генерал, сын известного наполеоновского генерала Н. Удино.

[^^^]

Леопольдо Спини (1815–1861) – журналист, участник демократического движения, приятель А. И. Герцена.

[^^^]

На корабле – доверенное лицо фрахтователей.

[^^^]

«Король-джентльмен», прозвание Виктора-Эммануила II.

[^^^]

В 1860 г. Гарибальди женился на 19-летней Джузеппине Раймонди (моложе его на 33 года), участнице похода против бурбонцев, однако узнав об ее измене, оставил жену, получив развод в 1879 г.

[^^^]

Анджело Брунетти (1800–1849), прозванный Чичеруаккио, в римском диалекте «толстячок» (у автора Чичероваккио) – трактирщик, сподвижник Гарибальди, участник восстания в Риме в 1848 г.

[^^^]

Расстрелян австрийцами 10 августа 1849 г. вместе с 13-летним сыном и с другими патриотами, но не в Анконе, а в местечке Порто-Толле, в дельте реки По, откуда после падения Римской республики пытался уплыть в Венецию.

[^^^]

Федерико-Франческо-Саверио де Мерод (1820–1874), архиепископ – бельгиец по происхождению, один из главных деятелей Папского государства при Пии IX.

[^^^]

Джиджи – уменьшительное от Луиджи (Лудовик). Этим именем итальянцы называют своего августейшего союзника [французского императора]. – Прим. авт.

[^^^]

Нужно, чтобы вещи шли регулярным курсом
(фр.).

[^^^]

Фердинанд II (1810–1859) – король Обеих Сицилий, отец Франциска II.

[^^^]

Африканские охотники (фр.).

[^^^]

Доверенное лицо.

[^^^]

Персонаж вставной новеллы в «Мертвых душах» Гоголя, отставной офицер.

[^^^]

Эфизио Куджа (1818–1872) – генерал савойской армии, позднее военный министр.

[^^^]

Манфредо Фанти (1806–1865) – военный и политический деятель объединенной Италии; участник Крымской войны.

[^^^]

Холодный северный и северо-восточный ветер в Средиземноморье.

[^^^]

См. о нем прим. на с. 79.

[^^^]

Гарibaldi Дж. Воспоминания / Пер. В. С. Бондарчука и Ю. А. Фридмана. М.: Наука, 1966.
Здесь и далее примечания М. Г. Талалая.

[^^^]

Garibaldi G. Memorie autobiografiche. Firenze:
Barbera Editore, 1907.

[^^^]

В 1849 г. после подавления антиправительственных выступлений в Неаполе Уильям Гладстон назвал так Фердинанда II в письме лорду Абердину, ставшем известным.

[^^^]

Гарибальди говорит о себе в третьем лице, используя один из своих эпитетов.

[^^^]

Это были Миссори, Нулло, Бассо, Марио, Станьетти, Канцио.

[^^^]

Древний герб Неаполя – вздыбленный конь.

[^^^]

Между главным государственным политиком Рисорджименто, графом Камилло Кавуром и Джузеппе Гарибальди существовало немало расхождений и трений в одном и том же деле, объединении страны. В Неаполе сторонники Кавура, модераты (умеренные либералы), пытались «перехватить» власть у слишком радикальных, по их мнению, сторонников Гарибальди.

[^^^]

Так Гарибальди иронично называет Наполеона III, который играл двусмысленную роль, поддерживая и растущее Савойское королевство, и папский Рим.

[^^^]

Фаро-ди-Мессина, «Мессинский маяк» – архаичный синоним Мессинского пролива.

[^^^]

Джон Расселл (1792–1878) – британский государственный деятель, министр иностранных дел, благожелательно относившийся к «экспедиции Тысячи».

[^^^]

Ряд генералов Гарибальди (Биксио, Медичи, Козенца, Тюрр) полагали неразумным продолжение «экспедиции Тысячи» – на Рим и Венецию.

[^^^]

То есть пьемонтских, по официальному названию королевства Сардинии (со столицей в Турине).

[^^^]

Древнее, греческого происхождения, название Неаполя и окрестностей.

[^^^]

Луиджи-Карло Фарини (1812–1866) – деятель Рисорджименто, сподвижник Кавура; осенью 1860 г. был командирован в Неаполь как глава пьемонтской администрации.

[^^^]

Уменьшительное от имени Франческо – прозвание последнего неаполитанского короля Франциска (Франческо) II.

[^^^]

У автора здесь описка – 20 октября.

[^^^]

Мечников пишет: «19 сентября, генерал Тюрр не решился начать наступательный образ действий. С рассветом, он атаковал Каяццо, место переправы через Вольтурно, и до полудня овладел им. Тогда оставив там около 600 человек, он отретировался к Сант-Анджело. Того же дня бурбонцы напали на Каяццо, и перерезав почти весь небольшой отряд, занимавший его, овладели им и стали угрожать нашим позициям» (см. выше).

[^^^]

У Гарибальди неточность – полковника Каттабене звали Джован-Баттиста, сокращенно «Титта», а не Тито.

[^^^]

В Изернии в октябре 1860 г. местные жители линчевали гарибальдийцев.

[^^^]

Генерал Джакомо Медичи (1817–1882) – ближайший сподвижник Гарибальди.

[^^^]

Король Обеих Сицилий Фердинанд II, жестоко подавивший антибурбонские выступления 1848 г.

[^^^]

Именно этот участок и укреплял Л. Мечников.

[^^^]

Мечников позднее называет это селение как место встречи Гарибальди и Виктора-Эммануила II (традиционно таковым считают Теано, хотя точных сведений нет).

[^^^]

Мечников часто упоминает венгерского генерала Иштвана Тюрра; венгерцам он посвятил и особую главу своих мемуаров.

[^^^]

Содержание этой телеграммы Мечников услышал от мисс Уайт – см. выше в его Записках, с. 76.

[^^^]

«Записки русского гарибальдийца. Об “экспедиции Тысячи”»: итальянские издатели слегка модифицировали и расширили название оригинала, так как в Италии, во-первых, уже не раз выходили воспоминания разных местных авторов с аналогичным титулом, «Записки гарибальдийца», и, во-вторых, существовала уже другая итальянская книга «Записки русского гарибальдийца. В горах Италии», советского партизана Анатолия Тарасова, – поэтому понадобился новый уточняющий подзаголовок про «экспедицию Тысячи».

[^^^]

Издательство «Алетейя» выпустило сборник его статей «Русская Тоскана» (СПб., 2012).

С историей Мечникова-гарибальдийца Ренато Ризалити познакомил его украинский коллега и друг, Николай Варварцев, опубликовавший обстоятельную статью «Левко Мечников – відомий і невідомий» (Вісник Академії наук України, 1992, № 4. С. 68–91).

[^^^]

Письмо от 30 сентября (12 октября) 1860 г.
Цит. по: Объединение Италии в оценке русских современников. М., 1961. С. 185. О
Б. П. Мансурове – см. ниже.

[^^^]

Скарская Н. Ф., Гайдебуров П. П. На сцене и в жизни. Страницы автобиографии. М., 1959. С. 108.

[^^^]

Короленко В. Г. Собр. соч. Т. II. М., 1954. С. 93–94.

[^^^]

Берг Н. В. Поездка в отряд Гарибальди // Русский вестник. Т. XXII. 1859 (отд. Современная летопись. С. 173).

[^^^]

Он же. Вторая поездка к Гарибальди // Русский вестник. Т. XXII. 1859 (отд. Современная летопись. С. 284–285.

[^^^]

См. о нем в: Письма Б. П. Мансурова из путешествия по Православному Востоку. М.: Индрик, 2014.

[^^^]

Отзвук этой деятельности можно усмотреть в первой главе «Записок», где на вопрос о национальности от гарибальдийского генерала, Мечников гордо заявляет: «Я славянин [далее: «Если б я сказал, что я троглодит, это бы меньше удивило...]».

[^^^]

Мы сознательно говорим лаконично об итальянском периоде биографии Мечникова, так как готовим (вместе с Р. Ризалити) для издательства «Алетейя» обширный сборник его итальянских эссе и корреспонденций, с нашим подробным комментарием.

[^^^]

Письма Скарятиной к Герцену, в которых она делилась своим смятенным состоянием и просила совета, опубликовал Н. П. Анциферов; см. Из переписки Герцена с О. Р. Скарятиной // Литературное наследство. Т. 63. М., 1956. С. 94–98.

[^^^]

Сосницкая М. Блеск и нищета русского гарибальдийца. К 170-летию рождения и 120-летию смерти Л. Мечникова // Русский журнал (2008); <http://www.russ.ru/pole/Blesk-i-nischeta-grossijskogo-garibal-dijca>. М. Сосницкая – также автор документальной повести о Л. Мечникове «Лев и Меч» (см. журнал «Наше поколение», №№ 7–8, 2010; <http://www.nashepokolenie.com>).

[^^^]

Второе русское издание книги Л. И. Мечникова «Цивилизация и великие исторические реки». Киев; Харьков, 1899 г.

[^^^]

Исторический вестник. 1897, № 68.

[^^^]

[^^^]

Киргизский гос. ун-т., Ученые записки исторического факультета. Вып. 2. Фрунзе, 1958.

[^^^]

Россия и Италия. М., 1968.

[^^^]

Литературное наследство. Т. 87. М., 1977.

[^^^]

Из истории русской философии XIX – XX вв.
М., 1969.

[^^^]